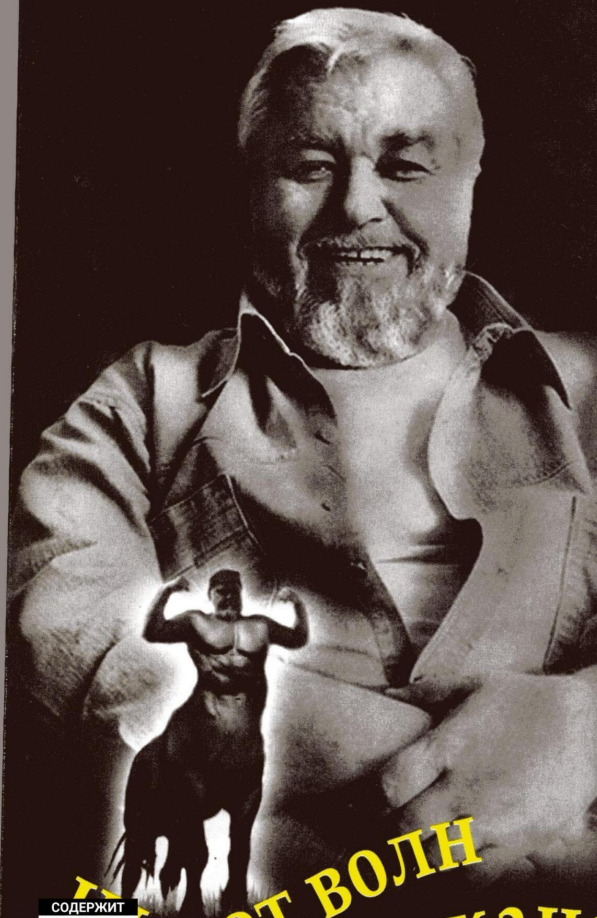




Борис Алмазов

18+

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

ЧЕПОТ ВОЛН
Обводного канала

Борис Александрович Алмазов

Шепот волн Обводного канала

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=69802813

SelfPub; 2023

Аннотация

Веселые и не очень рассказы, которые хотя и можно отнести к ,так называемому, "лёгкому чтению", но повествуется в них о времени, событиях и людях вполне серьёзно и точно. Размером каждый рассказ " в одну автобусную остановку" и читать книгу можно с любого места.

Борис Алмазов

Шепот волн

Обводного канала

Прощай, СССР...

Гимн Советского Союза

В раннем детстве под его звуки я просыпался. Гимн пели солдаты военного городка, где стоял наш дом. В любую погоду, утром и вечером. Тысяча мужских голосов:

«Союз нерушимый Республик Свободных!..»

Конечно, я не знал тогда, что автор слов – отец «Дяди Степы» – Сергей Владимирович Михалков. Вообще, для меня эти, совершенно непонятные слова и эта музыка, были чем-то космически вселенским и неотвратимо пугающим. Теперь я понимаю почему.

Во многих домах и до сегодняшнего дня радио говорит непрерывно, его не выключают. А после войны радио выключать запрещалось, на случай передачи экстренного сообщения или, по недавней тогда военной памяти, сигнала воздушной тревоги. Оно так и пиликало круглые сутки, и на него никто не обращал внимания, как на грохот трамваев за окнами. Ровно в двенадцать часов ночи включалась Москва.

Слышался шорох и шум машин, с бесчисленными автомобильными гудками, (примерно до 1961 года, потом уличные сигналы запретили), а затем ударяли куранты, и обрушивался многоголосый смешанный хор:

«Союз нерушимый...» Бабушка делала страшные глаза и всплескивала руками:

– Надо же, за Москву загнал! Немедленно спать!

Это означало, что я заигрался и дотянул до полночи! Вот от того бабушкиного вскрика: «За Москву загнал!» и возникало ощущение моего проступка и, неизбежного за сим, порицания, ежели не наказания. И до сегодняшнего дня меня бой кремлевских курантов заставляет неприятно вздрагивать...

В школе, с первого класса начали учить Гимн. Гимн положено было слушать стоя! А пионерам отдавать при звуках гимна пионерский салют.

«Сквозь годы (или грозы) сияло нам солнце свободы.

И Ленин великий нам путь озарил,

Нас вырастил Сталин, на верность народу

На труд и на подвиги нас вдохновил...»

Это было понятно. Сталина обожали! Когда 5 марта 1953 года он умер, страна сошла с ума... На нашей траурной школьной линейке, директриса от рыданий упала в обморок перед строем, утопающих в слезах, пионеров и учителей!

Когда я, путаясь в соплях, и обрыдав трехкилометровый путь, явился из школы домой, мама шила на машинке.

– Мама! Сталин умер!

– Я знаю, – сказала мама спокойно, не прерывая работы.

– Мама! Товарища Сталина больше нет! Что теперь с нами будет?

– С нами, сынок, больше уже ничего не будет! – сказала мама, обкусывая нитку, и, разглядывая шов – ровный ли...

– С нами уже все сделали!

И я успокоился! И потом, когда пошли хрущевские разоблачения культа личности и т.д. и т.п... я помнил не только мамино спокойствие, но и слова бабушки, когда наш сосед офицер явился окровавленный из давки на Московском вокзале, где обезумевшая от горя, толпа брала штурмом поезда, чтобы ехать хоронить великого вождя.

– Чего на покойника любоваться! Язычество какое-то!

И я ничему не удивлялся.

Моих сверстников, воспитанных в духе советского партийного патриотизма, жизнь отрезвляла по-разному, но рано и ли поздно на каждого выливался холодный душ реальности.

Известный артист Борис Хмельницкий, рассказывал о своем столкновении с действительностью такую историю:

– Отец – военный – начальник Дома офицеров. Оба родителя – отчаянные картежники-преферансисты. Причем, мама играла лучше папы. Играли, естественно, дома. А дом – это комната в коммуналке. В тот вечер играли с отцом, какой-то генерал-орденоносец, еще, вроде бы, местный про-

курор и еще кто-то не то из партайгеноссе, не то военный старших чинов. Играли, естественно, всю ночь напролет...

Пионера, моего тезку, Борю, уложили спать, как было принято тогда «не позднее девяти вечера». Но в двенадцать часов он проснулся от боя Кремлевских курантов. Действуя в соответствии с пионерским ритуалом, при первых звуках Гимна, он, в одних трусах, вскочил на своей постели и замер, отдавая пионерский салют...

– А они! – говорил Борис Хмельницкий: – даже не прервали игру! Папа! – прошептал я, – Папочка! Гимн же!

– Да, да... – рассеянно сказал отец, – Гимн... – Пас...

В шестидесятые – восьмидесятые, уже никакой бараньей искренности в исполнении ритуалов не наблюдалось. И когда шутник из университетского общежития, объявил вьетнамским аспирантам, что все советские люди в шесть часов утра встают и, стоя, слушают гимн, передаваемый по радио, и вьетнамские, доверчивые бедолаги заводили будильник на шесть утра, чтобы стоя прослушать «Союз нерушимый», а затем рухнуть в койку досматривать сны, шутника из Университета поперли! Система ценностей изменилась.

Нет спору! Гимн требует и ритуала и уважения. И при исполнении Государственного гимна в торжественных случаях положено стоять! Когда при звуках своего гимна плачет спортсмен на Олимпиаде, или солдат, которого через много лет нашла награда ... Это я состояние разделяю и понимаю!

Но я когда мне рассказывают как все налогоплательщики Юнайтед Стейтс оф Америка, всегда и непременно, рыдают от восторга при звуках своего гимна, они мне так напоминают мое пионерское детство... А оно, Слава Богу, прошло...

Скрипачонок

1.

По Невскому ходил трамвай, и мы приехали на трамвае. Он вроде бы сворачивал на тогдашнюю улицу Желябова, ныне опять Большую Конюшенную. Я помню это точно, потому, что в тот летний день начали снимать трамвайные рельсы с Невского и с какой -то улицы, около здания, удивившего меня мелодичным как нота взятая камертоном названием «капелла».

Мы с мамой, собственно, ехали в Эрмитаж, потому что у нее был выходной, но зачем -то соединили нашу поездку с заходом в эту капеллу, где сын соседки, он был старше меня на полтора года, и стало быть поступал в первый класс, проходил конкурсный отбор.

Я его не любил, потому что он был сильнее и считал, что поет лучше меня. А поет лучше, потому что он украинец, а «украинцы все певучие» . Разумеется это ему напели дома, чтобы повысить его конкурсную боевитость, но парень он был действительно горластый. Орал на всех концертах в соседней воинской части, где был наш детский хор, но мне было тяжело его слушать, потому что он постоянно, как го-

ворила моя бабушка «сдорил» – слушок то у него был паршивенький. А фальшивое пенье можно сравнить только со скрипом ножа по тарелке или еще с чем – nibудь тошнотворным.

Думаю, что в капелле я потерялся, а взрослых просто не пустили в большой зал, где собирались принаряженные конкурсанты в вельветовых костюмчиках, некоторые с бантами на груди. Как я попал в эту толпу? Не исключено, что поддавшись детсадовскому рефлексу, когда велели простроиться парами, я – построился и пошел наверх по лестнице в большой зал-вестибюль. Здесь нас разбили на стайки по десять человек и развели по кабинетам. Я удивился, что в том, куда мы пришли, за роялем сидел дяденька. Мужчину за музыкальным инструментом я видел первый раз (если не считать солдата, который играл на гармошке в нашем хоре) и считал это дело сугубо женским.

Дяденька заставил нас по очереди петь за ним ноты. Сашка, так звали моего соседа, как всегда, сфальшивил.

– Да нет же! – раздраженно сказал дяденька. Вид у него был измученный: – фа, фа!.

Сашка покраснел, взмок и опять промахнулся.

– Фа! – рывкнул дяденька.

И тогда, чтобы помочь Сашке, как я помогал ему всегда в хоре, куда нас водили мамы, я тихонечко подпел-подсказал: « Фа...»

Дяденька повернулся ко мне с таким видом, точно хотел

меня раздавить, как паровой каток.

– Громче! – заорал он.

Я спел громче.

– Громче! – не унимался он.

Я двинул так, что перекрывал шум отбойных молотков на улице.

– До – ми- соль -до! – закричал дяденька, грохоча по клавишам.

Я запел за ним, но не запомнил нот и сбился.

– Что! – закричал дяденька, – Разве не ясно?

– Я такого слова не знаю, – сказал я, памятуя бабушкины слова: «никто не смеет на тебя орать! Никто!»

– Какого слова? – спросил, будто из воды вынырнул дяденька.

– Которое вы кричите: про домик и про фасоль

– Ха ха-ха, – громко и отчетливо сказал дяденька, не меня выражения лица и я понял, что он так смеется, – Ха-ха-ха ..
Пой просто «Ааааа»

Я запел. Он стал бабахать по клавишам и я почувствовал, что под его грохот петь удобнее. Нужно просто опираться на главные звуки.

– За мной! – закричал дяденька, – Пой за мной. «Горные вершины ... спят во тьме ночной» ...

Я слышал эту песню по радио, и она мне нравилась. Чувствуя прилив того счастья, которое всегда овладевало мною при пении, я вдохнул и, как говориться, выдал во всю

мощь...

Я пел и чувствовал, что получается хорошо, потому что вдруг с половины куплета, дяденька красивым, словно не своим, голосом стал подпевать: «Горные вершины...» Его мелодия шла в другую сторону. Я словно карабкался по эти неведомым мне горам, а он шел со мною рядом, заботясь, чтобы я не упал. «Не пылит дорога, не дрожат листы...» и когда мы, наконец, добрались до вершины, где «подожди немного, отдохнешь и ты...» Я полез в такую высоту самостоятельно повторяя финал, что дяденька, отстал где-то по дороге. Но я спел чисто, и это, позванивая хрусталиками, подтвердила мне люстра, висевшая под потолком.

– Так!– закричал дяденька, – Всем стоять! Стоять молча! Я сейчас.

Он схватил меня за руку и как был без пиджака, поволок меня, куда-то по коридорам. Мы прибежали в другую комнату, где тоже был рояль и сидело человек десять взрослых и старичков, и старушек.

Мой растолкал всех и стал что-то говорить, стучая меня пальцем в макушку.

– Ну-ко, ну – ко, – потирая руки, подскочил ко мне маленький старичок – Что будем исполнять? Ну-ко.

– «Возьмем винтовки новые»

– А что-нибудь более мирное?

– «Слыхали львы»

– Что-что? спросила какая то старушка, приставляя ла-

донь к уху.

– Львы, – пояснил я, – Львы слыхали.

– Ну, и что же они слыхали? – трясая над моей головою огромным животом, синевя от смеха, спросил грузный человек с чубом и лицом красным, как срез окорока в колбасном отделе.

– За рощей глас ночной...

– Глаз, надо полагать, совиный? – спросил он, изнемогая от смеха.

– Не .., – сказал я, – это по – старинному так говорили. Глас это голос.

– Ну, раз голос, – сказала старушка, садясь к роялю, – давайте послушаем.

– Слыхали-ль вы, за рощей глас ночной, певца любви, певца моей печали... Когда поля в час утренний молчали свирели звук унылый и простой...

По лицам этих замечательных старичков и старушек я понял, что делаю что-то очень им приятное, поэтому я остановился и смело сказал:

– Там две тети поют.

– Желаете дуэтом? – спросил старичок.

– Угу, – сказал я, глядя на того толстого, краснолицего, но он только трясся и махал руками.

– А какую ты будешь петь партию? – спросила старушка за роялем – то-есть, за какую тетю?

– А хоть за ту, хоть за ту...

– Придется помогать, – какая то очень большая дама, подошла к нам и, прижав мою спину к своему животу, сразу начала петь, голосом такой глубокой красоты, что я задохнулся от счастья.

Я думаю, что мы очень хорошо пели, потому что тот, кто привел меня стоял посреди комнаты, уперев руки в бока, глядел мне в рот, и губы у него шевелились, будто он пел вместе с нами.

– Уникум! – закричал толстый и заплодировал, когда мы перестали петь

Я поклонился пониже в пояс, – мне было приятно, что он назвал меня «умником»

– Я не могу! – кричал он, хохоча и утирая лицо платком, – Брать! Немедленно брать! Просто подарок!

Меня схватили за руки и поволокли вниз по широкой лестнице, где стояла плотная толпа взрослых

– Чей ребенок? – закричал тот, без пиджака, не выпуская моей руки, точно боялся, что я куда то упорхну.

– Что он сделал? – сквозь толпу протискивалась мама, – Мой.

Она попыталась оторвать меня от этого, без пиджака, но он не пускал.

– Сколько ему лет?

– Пять, – сказала мама, – Пять с половиной. Даже восемь месяцев...

Дяденька застонал.

– То-то я гляжу, больно он маленький какой-то – сказал ласковый старичок, который бежал за нами вприпрыжку из зала, где мы пели.

– В дирекцию! Как исключение! – рычал тот, что привел меня.

– Что ты натворил? – спрашивала мама меня.

– Я пел.

– Какие слова? – волновалась мама, – Вообще то он у меня не озорной, – говорила она старичкам и дяденькам, которые шли с нами толпой.

– Пять лет! – стонал тот, без пиджака, – Пять! Какая жалость!

– Почти шесть, – говорила мама, извиняющимся голосом.

Нас привели в большую, светлую комнату, где за печатной машинкой сидела красивая, молодая тетя. Она дала мне чаю с конфетой, пока мама уходила куда-то за высокую темную резную дверь.

Скоро она высунулась оттуда и позвала меня:

– Иди – покажись! – вид у нее был испуганный и одновременно гордый.

Я вошел. В кабинете за огромным письменным столом сидел (сразу было видно) начальник. Он улыбался и кивал мне, но сказал:

– Не выдержит. Мал.

– Но может быть, в виде исключения... – стали просить старичок и тот, без пиджака.

– Товарищи! – веско положив огромную руку на стол, сказал начальник, – Существует установка – от семи до восьми. И это согласовано с медициной. А ему еще шести нет. А он вон еще сублильный какой! И вы уважаемая даже не знаете о чем просите ... Это же адская жизнь! Ка- тор-га!

– Да я ни о чем и не прошу! – краснея, сказала мама, – Мы, вообще, сюда случайно зашли, со знакомыми.

– Приходите через годик! – сказал начальник. – Через годик сколько ему будет?–

– Шесть с половиной! Ну вот, тогда еще можно будет о чем –то разговаривать.

Я не помню, попали мы в тот день в Эрмитаж или нет. Думаю, что нет.

Помню, как мы шли по Невскому, мимо какой –то студии звукозаписи. И мы зашли туда. Там разные мелкие мальчишки и девчонки пели и читали стихи, а их записывали на пластинку, а пластинку можно было взять себе. Но голоса на пластинке были совершенно не похожи на те, которыми пели или говорили ребята. Поэтому мы не стали записываться. Так сказала мама. Но я думаю, что у нас просто не было денег.

Весь вечер мама разговаривала с бабушкой.

– Может быть это его судьба? В конце концов, у нас все пели. И у тебя был голос, если бы не война... – говорила бабушка.

– Но ведь это интернат! Нужно будет его отдать! Отдать

навсегда! – говорила с ужасом мама.

И я замирал от страха: – Как это меня отдать? Кому?

– Возить его со Ржевки, ежедневно, к восьми утра – немыслимо. Мы его потеряем! – говорила мама.

– Господь все управит Сам, ко благу.. – закончила разговор бабушка: – Все в Его воле. На Него и положимся. И нечего себе голову дурить... Станем жить, как жили. Господь разберется.

И она оказалась права. Осенью я заболел коклюшем. И кашлял, выворачиваясь на изнанку как варешка, месяца два.. После чего у меня голос не то чтобы пропал, но так изменился, что уже никого не поражал и петь мне еще долго было трудно.

О капелле мы не вспоминали, хотя мама и бабушка говорили иногда:

– Стало быть, судьба такая... И слава Богу ... А жизнь еще не вся... Еще все только начинается.

Я потихоньку плакал. Мне было жалко пропавшего голоса и того счастья, что ушло вместе с ним, и все это сливалось для меня в прозрачное и печальное, будто стук дождевых капель по стеклу, слово «капелла»...

А летом вдруг в нашей коммуналке появился тот, что пел со мною про Горные вершины.

Я бегал по двору, когда мальчишки прибежали и закричали:

– Борька, к вам дядька какой-то приехал, в шляпе!

И я помчался домой, замирая от мысли, а вдруг это приехал мой отец или его, может быть его фронтовой друг, потому что я знал – отца уже нет на свете. Но мало ли что...

И уж никак не ожидал я увидеть в нашей комнатухе того – из капеллы.

– Ну вот ... сказал он: – Ну вот... А я все думаю, что же ты не едешь... Вот сам приехал к тебе, а ты, говорят, болел...

– У меня голос пропал. – сказал я глядя ему прямо в глаза.

Он заморгал виновато и я увидел, что у него ресницы белые, как у поросенка, а все лицо в веснушках.

– Это бывает! Бывает! Ничего, не горюй! Еще появиться! Сейчас, главное не упустить время! Это вот я и маме, и бабушке говорю... Он повернулся к ним и, прижав руку к белой рубашке с галстуком бабочкой, сказал: – Ну, хорошо! К нам не попадет, но слух-то редкостный! Слух-то – дар Божий! Надо учить музыке! Непременно! Непременно! Чего бы это ни стоило!..

Вот так я попал в музыкальную школу, куда меня приняли сразу после первого прослушивания. И начались мои страдания, с которых начинается жизнь каждого не то что музыканта, но любого ребенка, берущего в руки инструмент...

Недавно Наталия Гальперина выпустила книгу «Музыка без слез», где она – выдающийся педагог, рассказывает, как можно обучать, чтобы потом, вспоминая детство, человек не называл период с первого по пятый – седьмой класс «форте-пьяно с ременным приводом».

Но даже, когда без слез – это тяжелая работа, только с приходом мастерства приносящая радость, а до того – пот и слезы. Слезы, которые я помню до сих пор – полвека спустя. Написал – и страшно сделалось. Полвека! Как быстро!...

Но, вспоминая свои муки и радости, в пору перепиливания скрипки, я вспоминал и величайшую доброту, с которой столкнулся, потому что только она помогла мне не озлобиться и не растерять, свойственной каждому человеку, веры в хорошее и светлое.

А того первого, который, буквально, втолкнул меня в музыку, я не забуду никогда! Мало ли голосистых мальчишек! Ведь не поленился, разыскал нас в нашей коммунальной дыре. Приехал, чтобы вытащить, обучить, сделать музыкантом, еще одного, из тысяч талантливых, которые так никогда и не проявляются. Это «середнячок», «бездарность» где скачком, где ползком, где потом и упорством, пробьется, талант – уязвим и одинок, он, как правило, пропадает. И только потом, за стаканом водки, смутно вспоминает: мол, было что – то, да не состоялось!

К величайшему моему сожалению, я не знаю, кто это был. И даже предположить не могу! Мы не запомнили ни имени, ни фамилии. А когда я специально пересматривал фотографии педагогов Ленинградской Академической капеллы того времени, его лица так и не нашел... Очень жалко. Он был из тех великих душою людей, на которых и держится Россия. К счастью, таких много. И всю жизнь, будто сменяя друг дру-

га, они были вокруг меня. Иначе, я бы не перенес одного из самых мучительных периодов своей жизни, периода слез, синяков и оскорблений, потому что мы были еще и беззащитными, и нищими, периода, когда меня звали «скрипаченком».

2.

Музыкальная школа сначала показалась мне чудом. Все мне улыбались. Все меня хвалили. Мама торжественно подарила мне нотную папку с красивой лирой на крышке и надписью вкось «Музикуе» на иностранном языке.

Нам выдали казенную скрипку-четвертушку, то есть как раз мне по рукам, и мы поехали сфотографировались, как будто я уже стал, ну если не знаменитым скрипачом, то уж никак не меньше загадочного «Музикуе»

Фотограф сделал несколько видов, чтобы продемонстрировать не только мои музыкальные пальцы, но и ресницы, которыми очень гордилась мама. В детском саду мы устраивали соревнования, сколько спиченок удержится на ресницах – у меня держалось пять штук!

Я ходил торжественный и гордый – ну, вылитый Музикуе. Стояла золотая осень. По всему городу продавали яблоки по восемь копеек килограмм – покупали их кошелками и складывали между рамами окон. И можно было есть сколько хочешь! Мама перешла работать в школу, и я весело шагал с ней каждое утро в свой первый класс...

Жизнь улыбалась.

Уроков задавали немного. Я быстро выводил все положенные по заданию палочки, и потом мы ехали в дребезжащем и разболтанном трамвае, пока не выходили на улице Михайловской и шли мимо красного здания с белыми полукруглыми наличниками над высокими окнами. Бабушка называла это здание торжественно и воинственно «Арсенал» и, наконец, подходили к музыкальной школе, из окон которой доносилась разнообразная музыка. Я оглядывался, и прямо против дверей школы через улицу видел громадную стену красного кирпича. Стена была мрачна и неприступна. На мой вопрос, что там за стеной школьная гардеробщица сказала шепотом: «Кресты». Тюрма.

Моим первым учителем стал добрейший и милейший человек. В памяти моей осталась фамилия Савва. Звали его, по-моему, Николай Александрович. Но фамилия была так замечательна, что заменяла даже прозвище. Он был похож на великанского мальчишку, громадный, толстый и круглолицый, и одевался он необычно: короткие штаны с манжетой у колена, толстые шерстяные, не то чулки, не то гольфы, клетчатая жилетка и крахмальная рубашка с галстуком бабочкой. Все это завершалось большущей кепкой или широкополой шляпой, пиджаком с накладными карманами и длинным английским пальто с поясом-кушаком.

На него оглядывались на улице, потому что для тех стандартизированных времен он выглядел странновато, но фу-

тляр со скрипкой снимал сомнения – не иностранец. Наш! А лучезарная, прямо-таки швейковская улыбка располагала сразу и навсегда. Иногда в наш класс заходила его жена – такая красавица, точно фея из кинофильма «Золушка». Она заботливо укутывала шею Саввы длинным шарфом и ругала его за то, что он опять «заигрался» и забыл принять лекарство. Он всегда забывал его принимать. А принимать было нужно, потому что Савва был тяжелейший почечник, иногда он сидел на занятиях с темно-серым лицом, постанывал и промокал белоснежным платком выступавший на лбу пот.

Чего он только не делал, чтобы не забыть принять свои пилюли. Он возил в портфеле три будильника и они звонили в течение дня. Это происходило в трамваях, на репетициях, и Савва делал вид, что пронзительная трель к нему отношения не имеет. При этом так увлекался, что лекарство все-таки не принимал.

Все время получалось, что я оказывался последним на занятиях – ездили издалека, и я видел, как прямо с урока, взяв жену под руку, Савва отправлялся в таинственный и манящий Мариинский театр, где он играл в оркестре, а его жена пела. Они были артисты! Артисты в каждом проявлении и в каждом своем жесте. Именно такими должны быть люди этой высочайшей и благороднейшей профессии! Я видел этот блеск благородства, душевной красоты и доброты, почти во всех великих музыкантах, которых мне пришлось в

последствии повидать. Наверное, это свет музыки, которая жила в этих людях, и которую они могли создавать для других.

Педагогом Савва был изумительным. Ему доставалось самое мучительное – он ставил руки! И весь скрип, и скрежет, способный довести человека до самоубийства, в тот момент, когда юное дарование возит смычком поперек струн, словно перепиливает душу слушателя, казалось, его нисколько не волновал. Он с одинаковым энтузиазмом пел и хлопал в ладоши и взмахивал своей мягкой и огромной рукой в воздухе, дирижируя и выпускнику, и игравшему Рондо-капричиозо, и мне, старавшемуся держать чисто первую соль-мажорную гамму...

– Ни-ра ти-ра ни-ра таааа... – пел Савва. – Ах, вы мои пальчики – макарончики, даже и не макарончики, а вермишелины какие-то... Ничего, ничего, все установится... Мы еще всем покажем! Мы в Большом играть будем!

Я был ему по колено, при своих метр-шесть сантиметров (Именно так записан мой рост в школьной медицинской карте, Кстати, я был в классе не самым маленьким!), а скрипка-четвертушка могла поместиться у Саввы в ладони.

– Ни-ра ти-ра ни-ра раааа... Скрипочка меня спасла! Меня из консерватории – на фронт! Под Сталинград! На прорыв! И вдруг у самой Волги – музыкантов скрипачей – в тыл! Я своему счастью не верил. Это сначала-то все добровольцем рвался, все пороги в военкоматах обивал, а как привезли на

передовую – сразу назад захотелось.

– Как же вас с почками мобилизовали? – робко спрашивала мама, которая сидела в классе на уроке, «для моральной поддержки и для домашних занятий» – как говорил Савва,

– Так я же скрыл! За Родину! За Сталина! Малой кровью, скорым ударом...! А как на передовую попал... Ужас! Ну, что же это за вермишелинки такие... Ми...Ми...Ми...! Ни-ра ти-ра ни-ра ра...

Первый класс я закончил блистательно и досрочно. К весне я играл программу второго и третьего класса. Но через год Савва оставил преподавание – вероятно, почки не позволяли ему мотаться из театра в школу и обратно. Осенью он в школу не пришел, и я попал к Соломону. Не буду вспоминать его настоящего имени – у него ведь дети были и, наверное, уже теперь правнуки, а они не в чем не виноваты, и для них он, наверное, был и милым, и близким, и дорогим... Господь ему судья. Но как он терзал меня!

Соломон был полной противоположностью Савве. Тощий, маленький, страшно похожий на Мейерхольда. Прямо вылитый Мейерхольд. С кудрями на затылке, с вдавленной в плечи головой, длинными руками. При этом он все время трясся и подергивался. Его сотрясал нервный тик. Плясали руки, скакало лицо. Все прыгало и металось в его длинных пальцах.

С первого занятия он выгнал из класса маму, чтобы не мешала заниматься. Потом он начал на меня орать. Он хва-

тал мои пальцы и втыкал их в струны. Мне было больно. Он два раза ломал мне скрипку! Да не мне, а об меня!

Стараясь не показывать маме своих слез, я все-таки плакал. Наревевшись в коридоре, я отдыхал, и шел вниз в гардероб, где она меня ждала. Мама, конечно же, все понимала иначе, чем объяснить, что длинной дорогой домой, в насквозь промерзшем трамвае, она рассказывала мне, как ей пришлось бороться за существование, как трудно было на фронте, как боролись всю жизнь дедушка и дядя.

– А у нас есть такое счастье – мир! И возможность учить тебя музыке.

Но счастье музыки для меня погасло. Все навалилось сразу. В школе – вторая смена. А значит, музыкальная с утра. Нареванный, исципанный Соломоном, бегом в класс, где конечно соображал туго – потому пошли тройки. А в музыкальной школе Соломон за полгода не поставил мне ничего, кроме двоек. Эта дикая, постоянная травля начисто выбила меня из колеи. Я перестал понимать что-либо на сольфеджио. К нему прибавилась еще одна беда – общефортепианная подготовка. Нужен инструмент, а у нас его не было. Да и поблизости ни у кого. Правда, у одной старушки на нашей улице имелись клавикорды, но, во-первых играть на них было все равно, что играть на лежащем аккордеоне, а во-вторых, за что ей бесплатная мука моего освоения клавиатуры? А платить мы не могли. Много лет спустя, один мудрый старый педагог сказал, что мне, тогда начинающему учителю:

«Будьте особенно внимательны и осторожно с лодырями – лень, как правило, следствие болезни, либо реакция на перегрузки».

Я стал лениться. Если у Саввы я все время рвался играть, учить новое, то у Соломона я пилил по струнам в состоянии тоски. Эта тоска преследовала меня постоянно. Теперь и в окно класса музыкальной школы мне виделась темно-красная кирпичная стена «Крестов», и начинало казаться, что я не снаружи, а внутри.

Зачем меня так мучил Соломон? Почему он сознательно пытался доказать мою непригодность? Как ни странно, причина этого и его тика, и его бегающих глаз – одна и та же. Много лет спустя я встретил музыканта, который у него учился, и все-таки выучился. И даже вспоминал его без ненависти, он то мне глаза и открыл.

Родители учеников платили Соломону как за частные уроки. Нам же такое и в голову не приходило. Мы платили за школу. А даже если бы пришло, то мало бы что изменило – денег-то у нас, все равно, не было.

Соломон выживал меня, чтобы взять на мое место платежеспособного. Выживал и боялся! Трясся от страха, но выживал. Наверное, по-своему он был несчастный человек. Но мне от этого не легче. Я ведь тоже, по-своему мучил Соломона, как жертва мучает палача – я не оставлял музыкальную школу, не пропускал занятий, и не смотря на то, что в течение года получал у Соломона только двойки, на четвертных

прослушиваниях и на полугодовых экзаменах и на годовых получал пятерки и четверки.

– Сфинкс! Сфинкс! Загадка! – кричал, брызгая слюной, Соломон, и мне казалось, что больше всего ему хочется треснуть меня скрипкой по голове. Кое-как я закончил второй класс, мечтая, что, может быть, осенью я попаду к другому преподавателю. Но первого сентября меня опять отдали Соломону. Я совсем зачах и приуныл. Через месяц Соломон назначил квалификационную комиссию, для того, удостоверить мою профессиональную непригодность.

Я знал о ней заранее, потому что, вероятно, не ожидавший увидеть меня первого сентября Соломон закатил истерику. Он кричал, что устал обучать лодыря! Что мальчик, то есть я, либо болен, либо сфинкс! Он не знает, что делать.

При этом он закатывал глаза под лоб, пил из стакана воду и зубы его стучали о край...

Мы с бабушкой поехали в церковь и долго со слезами молились. Я смотрел на любимую свою икону Николая Угодника и умолял его помочь мне и не отнимать у меня скрипку и музыку.

Бабушка, как всегда после причастия, совершенно успокоилась, и когда мы поехали домой, все гладила меня по голове и говорила:

– Господь поможет. Николай-угодник пошлет помощь. Он всегда посылает помощь через людей.

Я верил бабушке. Да и как было не верить! Например, ко-

гда у нас совершенно кончались деньги, и дома оставались только на трамвай – туда и обратно. Бабушка ехала в церковь и молилась. И всегда, либо в этот же день, либо на следующий, откуда-то, появлялись деньги. То бабушка получала пенсию раньше «пенсионного числа», то маме кто-то платил вперед за частные уколы, или приходил какой-то перевод от дальних родственников, которые, как могли, помогали нам.

Бабушка веровала так же естественно, как дышала. Я не могу сказать, что такая вера примитивна, она – правильна. Между ней и Богом был завет – то есть союз, как между старейшиной в роду и ребенком. Бабушка веровала искренне и сильно, поэтому и помощь приходила – просто и мгновенно. Я тому свидетель.

Уверенная, она ехала в музыкальную школу, крепко держала меня за руку, и на глазах у Соломона, который скакал по коридору в предназначенную для комиссии, аудиторию, перекрестила меня и поцеловала в лоб. Соломон театрально развел руками...

Я вошел в зал и сразу, с порога увидел Профессора. Я видел его и раньше. Это был, как сейчас бы сказали, самый авторитетный человек в школе. Во всяком случае, когда он проходил, то директор выбегал козликом из своего кабинета с глухой простеганной, будто матрац, обивкой двери, и, чуть не в пояс, кланяясь, пожимал ему руку.

Мне кажется, что Профессору эти знаки повышенного внимания неприятны, поэтому он раздевался в обычном гар-

деробе, а не в педагогическом закутке. Там я его и увидел первый раз, там первый раз и поразился. Мы с бабушкой сидели в ожидании занятий хора, когда вошел Профессор, снял шляпу с белоснежных кудрей, подстриженных в скобку, скинул пальто, явившись в какой-то толстовке с карманами.

В это время по радио, что пиликало над тумбочкой гардеробщицы, передавали какую-то революционную радиопостановку, хор врагов революции запел «Боже царя храни!».

И вдруг Профессор глухим, но зычным голосом подтянул:

... Сильный, державный,

Царствуй на славу.

На славу нам!...

по радио уже шел диалог, а Профессор, плавно отсчитывая ритм красивой большой рукой, допевал финал...

... Боооооже царяааа,

Царяааа храни!...

Я никогда не видел таких глаз у моей бабушки. Они наполнились слезами и сияли! Профессор встретился с ней взглядом и вдруг спросил, положив мне руку на голову:

– Ваш? Да... Октябренок? Прелестно... А ведь все было не так! Верно, я говорю?

– Да! – сказала бабушка, комкая в руках мой шарфик, – Да!

– То-то и оно... – сказал Профессор, и еще раз, погладив меня по налысо остриженной голове, пошел по коридору, заполняя его весь своей широкой фигурой.

Дома мы долго обсуждали с бабушкой этот удивительный случай! И бабушка все повторяла: «Как он не боится! Как он не боится».

Так вот, он сидел в аудитории, где я должен был продемонстрировать свою профнепригодность.

Соломон выволок меня перед столом экзаменаторов и, дергая за плечо, стал перечислять мои грехи. Директор, сидевший на председательском месте, и какая-то тощая, в очках и кружевах мадам, и еще несколько педагогов сочувственно кивали:

– «Да, да, да... – мол, надо отчислять».

– Не трясите его! – сказал вдруг Профессор, – Ему больно.

– Да я, собственно... – Соломон отдернул руку от моего плеча, будто обжегся.

– Да что вы-то собственно?! – неожиданно грубо прервал его старик, – Что там у тебя? «Сурок»? Давай, валяй «Сурка»!

Я знал, что если за рояль сядет Соломон, то он обязательно собьет меня, но Профессор сел к инструменту сам! И я сыграл хорошо!

– Сфинкс! – как всегда сказал, словно плюнул в меня, Соломон.

– А вариации можешь? – спросил меня Профессор.

– К Бетховену? – ахнула мадам, – Оригинально.

– А как это? – спросил я.

– Ну, вот тебе мелодия, а ты ее вокруг, понимаешь, во-

круг... Для красоты.

– На скрипке не могу.

– Ага! – азартно закричал старик, – Валяй голосом.

И схватил свою скрипку!

Музыка! Великая, прекрасная музыка снова возвращалась ко мне, и я запел, оплетая мелодию такими кружевами вариации, что казалось – сразу пою за нескольких человек...

– Вы че делаете?! – закричал Профессор, когда мы закончили, – Иди, иди к бабушке! Вы че делаете?! Вы че себе позволяете?!

Мне было слышно за дверью, как что-то сбивчиво бормотал Соломон, а Профессор орал:

– Если тыкать все время «свинья, свинья» не удивляйтесь, что услышите в ответ хрюканье! Не понятно? Могу изложить по-латыни!

Я стоял в коридоре и молился, чтобы меня не выгнали. Профессор выскочил и чуть не сбил меня дверью

– От, мать честная! Господи, Боже ты мой!

Он взял меня за руку и повел в свою аудиторию, где занимался с выпускниками. Там он посадил меня за стол, достал из сумки – чемодана термос (я увидел термос первый раз в жизни) и налил мне горячего чаю. Достал два бутерброда с колбасой и сам тоже стал пить со мною чай.

Красный от возмущения, он молчал и сердито сопел.

Когда я съел свой бутерброд, он поставил меня прямо против себя и, держа за плечи, спросил:

– Папы нет? Естественно. А мама? Медсестра. А дедушка?

– Какой? – спросил я, и меня жаром обдало, потому что мне категорически запрещалось говорить, кто были мои дедушки, – Дедушек тоже нет. Они умерли.

– Были кем?! – спросил Профессор, и я не смог соврать.

– Мамин – священник... Папин – хорунжий! Но они... за нас... – я хотел сказать, что они не против Советской власти.

– Ах ты, Боже ты мой! – сказал Профессор. – Боже ты мой! Что творится!... Хорунжий! А ты-то, вершок с кепочкой, казак, что ли?

Я кивнул.

– А как положено казаку отвечать – знаешь?

– Казак станицы Добринской, Урюпинского юрта, Хоперского округа, Всевеликого войска Донского, – сказал я, первый раз в жизни, повторив вслух полный титул, который мне шепотом, под великим секретом, говорила бабушка, прибавляя: «Попомни. Попомни навсегда. Только никому не говори».

– Вот это да! – Профессор вытащил платок и долго сморкался.

Я подождал, пока он просморкается, и с надеждой спросил:

– Вы тоже?

– Что?

– Казак?

– Нет, – сказал старик совершенно серьезно, без тени улыбки. – Я чистокровный русский. Здесь, на Питерском камушке родился, здесь и в землю, Бог даст, пойду... А ты, как-зак, меня сильно обрадовал. Сильно.

Стоит ли говорить, что Профессор взял меня к себе. И я был единственный младшеклассник, из тех, кто обучался у этого великого музыканта и педагога. Он работал только с выпускниками...

Почти все наши занятия заканчивались чаепитием. Он так меня подкармливал...

Года через два я узнал, что он юнкером, (пошел в юнкера из консерватории, по призыву Временного правительства), в ту октябрьскую ночь находился в Зимнем...

Он рассказывал мне в подробностях, как все происходило на самом деле... Откуда и кто захватил дворец... Что никакого штурма, так картинно показанного в кино, не было вообще! Я думаю, что многого он не договаривал, щадя меня. О себе же скупое говорил, что вернувшись той ночью из Зимнего, выкинул шинель, всю амуницию и вернулся в консерваторию. И повторял, как Савва: «Скрипочка меня спасла».

За два года моего величайшего счастья мы прошли программу четырех лет обучения. И хотя у меня начисто отсутствовала общефортепианная подготовка, никто не смел даже подумать о том, чтобы меня отчислить. За мною нерушимой стеной стоял Профессор.

Кто знает, может быть, стал бы я профессиональным скри-

пачом, да вот только Профессор, в котором воплощалась моя тоска и по отцу, и по дедам, и для которого я, наверное, был желанным, но так и не родившимся внуком – умер.

После похорон на траурном концерте школьный симфонический оркестр играл реквием, и Соломон прочувственно вел первую скрипку. Он был похож на Паганини...

Я с горя заболел и музыкальную школу бросил.

3.

Я болел долго, месяца четыре. Врачи никак не могли определить, что со мною, а мне сделалось все равно, ... Я совсем не хотел ходить в школу и вообще не хотел ничего делать... Меня таскали на бесчисленные анализы и осмотры. Потом придумали, что у меня воспаление почек. Хотя я совершенно уверен – не было никакого воспаления! Я болел от тоски! Я так горевал по скрипке и по Профессору, что даже плакать не мог.

Мама и бабушка правильно сделали, что не пустили меня на похороны, и я не видел Профессора мертвым. Поэтому он мне постоянно снился живым, и я разговаривал с ним почти каждую ночь. Хотя при жизни, обычно мы с ним мало разговаривали – только когда пили чай. А так все время: либо занимались, либо к нему шли ученики: как пригородные электрички – один за другим или как трамваи, что грохотали и завывали под окнами нашего дома. Я лежал с открытыми глазами и смотрел как вместе с грохотом, от которого дрожала посуда в шкафчике, а по потолку медленно проплывает

блик света слева направо со Ржевки в город и справа налево из города на Ржевку...

Скрипка у меня была казенной, и ее пришлось сдать обратно в школу, но меня никто не исключал, я считался в академическом отпуске по – болезни. Хотя я – то знал, что назад в школу никогда не вернусь. Не мог я вернуться, потому что там меня ждал Соломон. Он, все-таки победил!

Провалившись дома несколько месяцев, я вынужден был пойти в свою общеобразовательную школу, только потому, что мне грозила перспектива остаться на второй год, кое – как я вытянул на троечках, и был допущен к экзаменам. Тогда экзамены сдавались ежегодно, начиная с четвертого класса. Поскольку к экзаменам нужно было готовиться самостоятельно и не ходить, в ставшую мне чужой, школу, я приналег и сдал на одни пятерки.

– Сфинкс, Сфинкс! – будто слышал я за спиной голос Соломона.

У меня еще оставались обломки голоса, хотя уже начиналась мутация и я «давал петухов» во всех регистрах. Мама до войны мечтала быть певицей и позволяла себе единственное удовольствие – петь в хоре, который существовал в соседней воинской части. Я не любил ни этот хор, ни жен офицеров, его составлявших, но мама, время от времени, заставляла и меня выступать, то со скрипкой, то с пением... Это – невыносимые муки и унижение! Но кто знает, может быть, тогдашние мои страдания помогли мне потом и в педагоги-

ческой карьере, и во многом другом, например, не бояться аудитории, телекамеры и пр...

И вот однажды, я притащился на репетицию хора и увидел там нового хормейстера. Неожиданно он взял, лежащую на рояле, скрипку и стал подыгрывать поющим. Когда он ушел покурить, я, не помня себя, взял скрипку и смычок.... Я не стал играть, просто стоял так, вдыхая запах канифоли и еще, еле уловимый, как музыка, тот особенный запах, который есть у каждой скрипки, и у каждой свой...

– Хочешь учиться играть на скрипке?– услышал я за спиной.

– Я учился...– проскрипел я, теперь совершенно чудовищным, подростковым голосом.

– Пять классов?– Это прилично, весьма прилично... Надо продолжать. Ни в коем случае не надо бросать!

Господь послал мне еще одного прекрасного человека! Звали его Владимир Иванович Варфоломеев. Он был инженером на Охтинском химическом комбинате, там же работала его жена, по-моему, химиком-технологом, но оба – прекрасные музыканты. Владимир Иванович музыку любил фанатично. Занятый, как говорится, «по самое никуда» на работе, он еще руководил самодеятельным хором, и сам учился в музыкальном училище.

Говорили, что инженер он, что называется, от Бога! Целая стопка почетных грамот лежала у него на краю старенького пианино втиснутого в их комнатушку, величиною с по-

сылочный ящик. У него были золотые руки и он постоянно что-то мастерил: то какую то радиолу, то телевизор, то купил страшную по тем временам редкость – машину и все лето валялся под ней, нисколько не щадя своих рук скрипача.

Я уж не говорю, что кроме большого гаража он постоянно что-то строил: какие-то теплицы, какие-то необыкновенные парники на огороде. Все это, конечно, ломалось и разрывалось окрестным пролетариатом, свезенным на Ржевку, по вербовке, со всех деревень Псковской и Новгородской областей, который совершенно здесь спивался. Владимир Иванович и сам, время от времени, бывал пьян, иногда сильно. Правда, я никогда его таким не видел, но водочная страсть делала его своим для сотен собратьев по труду. Иначе он бы не был ими понят и принят. Совсем бы уж оставался белой вороной со своим авто и скрипкой!

Летом приехала из города, с ласковым названием Серпухов, его матушка, нянчить внучку, тут я узнал, что Владимир Иванович в сорок первом году из девятого класса ушел добровольно на фронт и воевал до Победы. Что у него два ордена и четыре медали.

О его военной биографии, плача, рассказывала его мать: «Был вот, командиром отделения. Говорят, надо связь установить с тем берегом. Володюшка спрашивает: – Ребята, кто пойдет? Те – мнутя. А которые и плавать не умеют. Ну, он тогда катушку на спину и сам поплыл, да выплыл то, спервоначалу, к немцам, скорее, назад, в воду, а уж потом к своим.

Думал: Героя дадут, потому обещали: кто первый на берег энтот Днепровский ступит – тому Героя. Он среди связистов выходил – первый! Но, вот не дали. Только Красную звезду».

Сам Владимир Иванович никогда о войне не говорил и в разговорах о войне не участвовал.

Постепенно, я отходил от своего горя. Музыка снова возвращалась. Но у меня не было скрипки! Мы искали ее с Владимиром Ивановичем по комиссионным магазинам, по музыкальным, пытались купить с рук по объявлению, но скрипка – редкость. Скрипок не было! Владимир Иванович брал для меня скрипку на прокат в училище, но и там скрипок не хватало, и ему каждый месяц все труднее и труднее было продлевать «прокат инструмента» И вот в один вечер, он приехал к нам совсем огорченный и без скрипки. Скрипку отобрали. Я остался без инструмента.

Все занятия теряли смысл. Опять чудился мне злорадный смешок Соломона, потому что скрипка не для меня! С калашным рylom, в суконный ряд....

И опять произошло чудо. Однажды вечером, когда мне совершенно нечем стало себя занять, в нашей комнате возник старичок, похожий на Чарли Чаплина: с такими же усами, в круглой черной шляпке, и принес скрипку.

Это был фельдшер скорой помощи. Он работал вместе с мамой. Его все знали только по фамилии – Казачков. Я думаю, его до сих пор помнит благодарная Ржевка, если она, вообще, не утратила способности что-нибудь помнить! Он

был настоящий фельдшер с окраины. Я видел, однажды, случайно, его в работе, когда он оказывал помощь, попавшему под трамвай! Маленький, зоркоглазый, сосредоточенно интеллигентный, он мгновенно разглядел все ушибы, все травмы и переломы, наложил жгуты и по всем правилам, отправил пострадавшего в ближайшую больницу. Кажется, это было воскресенье, и Казачков был выходной. Просто проходил мимо...

В тот вечер он долго пил чай, и рассказывал про свое трудное детство и про свою мечту научиться играть на скрипке. Мечта не сбылась, он не научился. Но скрипку привез с войны, подобрал ее, где-то, на обочине фронтовой дороги. Скрипку он отремонтировал и долго берег, пока инструмент не пригодился мне.

Когда мама робко сказала что-то об оплате за прокат инструмента, он и слушать ничего не стал! Уходя, уже в дверях, прижимая шляпку к груди и помаргивая повлажневшими, прекрасными добрыми глазами он сказал:

– Когда я умру, я хотел бы, чтобы мальчик однажды пришел и сыграл что-нибудь на моей могиле... Мне будет приятно, что он выучился, и скрипка принесла пользу. Пусть не я, так другой, но все же станет скрипачом!

О, святое, сентиментальное время! О, светлая память фронтовиков, не ожесточившихся во зле войны! О, прекрасная моя Родина, может быть единственное место на планете, где прозябая в кошмаре продымленной химией окраи-

ны, униженные уже самим существованием здесь, постоянно оскорбляемые, в страхе бессмысленных и беспощадных репрессий, люди не оскотинели, не утратили мягкости сердец. Удивительно, но мне кажется, что в то страшное, злое время люди, в большинстве своем, были добрее, чем нынче.

К сожалению, я не смог выполнить трогательной просьбы фельдшера Казачкова и причин тому несколько. Я уехал со Ржевки. Закончив программу музыкальной школы семилетки с помощью Владимира Ивановича, я сдал экзамен по специальности экстерном, но после этого забросил скрипку. И в переносном, и в прямом смысле. Это была уже моя скрипка. Мы купили ее. И концерт Мендельсона на выпускном экзамене я играл уже на своем инструменте. Но странное дело, вместе с появлением этой очень хорошей чешской импортной скрипки в нашей комнатухе, мне вдруг так стало ясно, что скрипачом я не стану. Время упущено. Да и кроме специальности нужно сдавать много чего еще... Например, общефортепьянную подготовку. А я так и не научился играть на рояле... Важно другое – я сумел закончить семилетку. Все-таки сумел! А дальше видно Бог не судил. Я еще поигрывал, и даже ходил в какой-то маленький оркестр, но все реже и реже. А в музыке, как и в любом искусстве не идти вперед – значит идти назад... Наконец, я убрал футляр со скрипкой на шкаф и не доставал его два десятка лет.

Не так давно, когда моя дочечка, «обалдевая музграмотой», никак не могла понять счета в менюэте Баха. Я достал

скрипку, и ахнул: смычок облысел! Из него вылез волос. Хорошо, что когда – то Владимир Иванович купил мне запасной. К удивлению, дочери я заиграл!

Конечно, это можно назвать игрой с большой натяжкой....

Но если когда-нибудь на кладбище с эмалевой фотографии на меня глянут незабываемые, добрые глаза фельдшера Казачкова, я увижу его аккуратный косой пробор на тщательно причесанной голове, чаплинские усики и медаль «За оборону Ленинграда» на лацкане габардинового пиджака, я сыграю... Обязательно сыграю на скрипке! Все равно будет ли это зима и сугробы или осенний дождь, будут ли вокруг люди или одни кресты и монументы. Я сыграю! Обязательно. И мне совершенно наплевать, как к этому отнесутся слушатели, если вдруг случатся рядом.

Вечерний звон

Самые счастливые годы моей студенческой жизни были связаны с квартирой в доме № 34 по Гагаринской улице, тогда улице Фурманова. Здесь над аркой ворот была большая комната, в которой жили два брата – студента Мишка и Витька. Комната в коммуналке была совершенно ледяной даже летом. Спасала печка, которую топили всем, что могли притащить с многочисленных капитальных ремонтов соседних домов. Вероятно, от разницы температур между остальным, прилично отапливаемым, домом и этой комнатой, которая были либо ледяной, либо раскаленной, стена дала тре-

щину. Деньги, присланные родителями, братья прогуляли, а на оставшиеся копейки купили громадную карту Советского Союза и стену заклеили. Комната досталась им в наследство от бабушки. Любопытно, что на дежурный вопрос «как они утомили бабушку», начинали возмущаться и доказывать, что сделать этого никак не могли, потому жили с родителями в Каунасе, где отец был командиром батальона спецназа, мать – врачом в госпитале, а младшая сестра училась в школе, и что бабушку они вообще видели раза три в жизни.

– И н-н-никого –ф-ф-физически угррробить не могли.

– Вы ее морально угррробили!

В этой способности братьев никто не сомневался – характеры у них были «нордические, стойкие». Оба учились и работали. Старший Мишка на дневном в Политехе и работал по вечерам, Витька учился там же, но на вечернем, и потому работал с утра.

И вот однажды, возвращаясь из своей кочегарки, Витька увидел, как в его парадной мальчишки кидают в стенку прабабушку всемирно известного нынче «дарца» – самодельную стрелу с иглой и бумажным стабилизатором. Совершенно справедливо усмотрев в этой игре угрозу детскому здоровью, со словами: « Вы что, дебилы, глаза выколоть друг другу хотите?», Витька стрелу у них отобрал и дома, просто так, метнул ее в карту, норовя попасть в родной город Каунас. И не попал. Он метнул снаряд еще раз и опять промахнулся.

Когда с вечерней смены вернулся Мишка, то застал брата метавшего стрелу в полном исступлении. Витька был злой, в поту, раздетый до трусов, а вся карта в мелких дырках от промахов.

Со словами: «Смотри, сопля, как это делается!» Мишка отобрал стрелу у младшего брата, метнул его в карту и тоже промазал.

– Ах ты, зараза! – сказал он, снимая пиджак и галстук, – Ну-ка, ну-ка ...

...В два часа ночи они решили не ложиться спать пока не добьются победы...

...В семь утра решили не идти ни в институт, ни на работу...

...В десять почти одновременно оба попали. Наконец.

Молча проглотили вчерашние холодные макароны и рухнули на постели в полном изнеможении, но с достоинством победителей. И это были еще цветочки! Они еще и не такое могли!

Любая идея мгновенно подхватывалась и воплощалась. Жарким июнем, в разгар белых ночей явилось мечтание искупаться. Тут же все, как обычно засидевшиеся гости и гости отправилась к Петропавловке, мимо Летнего сада и Марсова поля. Несмотря на ночное время было светло, как бывает в эту пору. В голубом, свежеполитом асфальте отражался золоченый шпиль Михайловского замка. Над Лебежьей канавкой, за которой в Летнем саду надрывался соло-

вей, в непривычной тишине гремевший трелями, слышными по всем набережным: Фонтанки, Екатерининского канала и Лебяжьей канавки... С Марсова поля в облаках аромата сирени, так же раскатисто и звонко отвечал ему соперник.

– Умереть, не не не встать, – сказал Витька, – Откуда они, сволочи, в центре? Тут же днем не продохнуть от гари... Просто лечь и тихо умереть!...

– Мальчики, – сказала какая-то разумная барышня. – Чего вы на Неву-то претесь? Купайтесь в Фонтанке, или вон в Лебяжьей канавке.

– В Лебяжке мелко, а по Фонтанке дерьмо плывет.

– Как будто Фонтанка в Неву не впадает!

– Т-т-там к-к-к-консистенция другая!

Возбужденные соловьиными трелями и присутствием хорошеньких девушек, мы решили переплыть Неву! Разделись в стеклянном тамбуре Дома ученых архитектора Резанова, который тогда не запирался на ночь. Выбросили девчонкам одежду, поскольку сменных трусов не имели, наказали им идти на Петропавловку, через Троицкий мост, а сами бодро и дружно метнулись в холодные волны.

Желание купаться прошло мгновенно. Стремительное течение упруго поволокло нас на стрелку Васильевского острова и противостоять ему было невозможно. Пловцы мы все пятеро были хорошие. Я тогда плавал в команде аквалангистов и за тренировку «наматывал» в бассейне километров пять, но то в бассейне... С ужасом, я подумал, что частень-

ко встречал в литературе характеристику пловца, (скажем, Рахметова в «Что делать») – «он Волгу переплывал...», но никогда, нигде не читал и не слышал, что кто-то переплывал Неву, да еще в самом широком месте... Обменявшись, по этому поводу соображениями, мы решили повернуть обратно, но не тут то было... Течение волокло нас уже в районе Зимнего дворца и тащило на самую стремнину...

– Н-Н-Н адо за быки под Д-Д-Д Дворцовым мостом цепляться... – присоветовал заводила Витька. Но при одном воспоминании, как летит мимо этих быков вода, возникало сильное сомнение в удаче.

– Похоже – тонем. – сказал самый спокойный среди нас – Судак.

– Надо по течению сплавляться, – предложил Мишка. – Куда – нибудь да вынесет.

– К...к... к.. Петергофу... – мрачно пошутил Витька, – л л ледышки... З-з-замерзаем же.... Сейчас с-с-судорги начнутся.. Ребя, у кого иголка есть? Надо было иголку взять.

– Надо было тебе иголку в язык, когда ты всех подначил, – сказал Мишка

– Хоть в жопу! – сказал Судак, – Теперь без разницы.

Меня разобрал дикий смех. Это было нервное. Поскольку я отчетливо понимал – куда мы влетели. Но вероятно, молодость, литые мышцы и рефлекторная уверенность, что жить еще предстоит вечно, да еще, что нас тут пятеро, как – нибудь выкарабкаемся, помогали держаться. Все было как-то

не натурально. Как-то не про нас...

Но как же мы обрадовались трелям милицейского свистка! Какие там соловьи могли пойти в сравнение с его разливами и красотами русской словесности, с которыми два сержанта вытягивали нас на борт катера речной милиции, вылетевшего к нам из под крутого мостика над Зимней канавкой.

– И главное – тверезые! Придурки! – мотал головой сержант, когда набитый нашими голыми телами, катер гнал к Троицкому мосту. – Главное, в чем мать родила. За что багром-то хватать?

Даже находчивый Витька не решился ничего посоветовать нашему спасителю.

А над русалками перил Троицкого моста, плыли, модные тогда, бутоны причесок наших девиц. Они шли совершенно позабыв, о том что только ради их благосклонного внимания, (что и составляет, по мнению Пушкина, «единственную цель наших усилий») мы чуть не отправились на тот свет. Они о чем-то увлеченно переговаривались, а одно из них, чуть приотстав, задумчиво вертела над головой, нацепив на палец, чьи-то плавки.

– С-С-С сволочи! – стуча зубами сказал Витька, – хоть бы на нас посмотрели...

– Мы не костюмах, – философски заметил Витя Богуславский.

– А во сколько бани открываются? – полюбопытствовал у сержанта Судак, поскольку мы были в мазуте...

– А вот как из КПЗ вас выпустят, – сказал сержант, – Так, аккурат, в баню и пойдете. Ежели, конечно, ваши девицы трусы вам возвернут.

Перечень подобных историй можно продолжать бесконечно, но книга о песнях и квартира на Фурманова имела к ним самое прямое отношение. Нас всех объединяла пламенная любовь к пению, и нигде, и никогда я не пел столько, сколько в квартире на Фурманова. Песня объединяла и поющих, и слушающих. Не пели двое: Витька (но зато он был маг и волшебник магнитофона. Однажды, работая ночь на хрипато́й Яузе и Астре, мы записали целый хорал, который спели вдвоем с его старшим братом Мишкой. Мишка держал низы, а я все остальное, а потом множили, множили и множили, подпевая голосам на магнитофоне. Получилось сносно. А ведь это было тридцать лет назад...) и Витя Богуславский, который утверждал, что у него нет слуха. Он только молчал и глядел исподлбья, сквозь тяжелые роговые очки и слушал. А пели мы самозабвенно. Часами.

Молва о наших спевках широко распространился в городе, и к нам приходили всякие молодые ребята – студенты – попеть. Некоторые, побывав единожды, больше и не появлялись, а другие приживались. Так появился, проходивший практику в журнале «Звезда» филолог Гришка. Обладателя похожего на плуг горба и хрустального тенора Гришку полюбили, что выражалось в полном пренебрежении к его физическому недостатку и отсутствия, в связи с этим, любых

снисхождений. Пришел громадный толстый Игнатов, обладатель бархатного баса, который пел с нами пел, да и ушел в профессиональные певчие в Преображенский собор, что было весьма чревато в обществе строителей коммунизма. Говорят, комсомольские власти взялись его «охмурять и перевоспитывать», кончилось это тем, что Игнатов ушел в монастырь иноком, наверное, по-русской своей душе, делал он все в своей жизни обратно требованиям власть придерживающих.

Спевки происходили стихийно. Как правило, они начинались с того, что обнаруживался рубль. На пятьдесят шесть копеек покупалась бутылка вина Айрум или Раздан, но уже за семьдесят две. (Год назад увидел это вино в магазине, кинулся как к глотку юности, отхлебнул – глаза из орбит – такой уксус – совершенно пить нельзя), за шестнадцать копеек – буханка хлеба и на оставшиеся – зельц – «холодец с ноготком» или « студень небритый» – в нем попадались клоки шерсти. Угощение было готово. Можно было ждать гостей. Приходили девчонки, приносили целомудренный лимонад.

Изготавливался напиток «дуяк» (один к двум), который освежал, не был кислым и пьянил, поскольку алкоголь усваивался вместе с газом.

Или, например, сосед Геннадий по прозвищу «Пизя», (очень был озабочен сохранением Пизанской падающей башни. Дни и ночи о спасении думал – чертежи рисовал), нёс, например, Пизя кусок позеленелого сыра – выбрасы-

вать, в связи с полной пищевой непригодностью, и был перехвачен у самого помойного ведра, Мишкой, который укорил его истреблением продуктов. Пристыженный, он кусок сыра отдал. Поэтому вместо студня и вина были куплены макароны, сварены, посыпаны тертым сыром, политы томатной пастой, посыпаны перцем, поданы под зеленью в тазике на общий стол. На спегетти гости налетели, как мухи, в том числе и Пизя с двумя дочками и трех и семи лет. Естественно, под такую «закуску» было выпито ведра два неизвестно откуда добытого бочкового пива, а уж пето – до утра.

Когда под утро все, кто жил далеко, улеглись, вповалку, спать на полу и тут же засвистели во все дырочки, дверь тихонько отворилась и в светлицу вошел не царь, а мишкин и витькин папаша – командир батальона спецназа, приехавший навестить сыновей. В комнате ступить некуда – спят как беженцы на вокзале.

– Э... – говорит, кто –то папаше, – На окне в тазике макароны. Чай в чайнике. Рубай и ложись к печке, нам часа через два на работу...

В семь утра дикий звон будильника, для громкости поставленный в оцинкованное ведро, и брательники кидаются в объятья, лежащего на полу, на шинели майора.

– Батя приехал!

А вечером майор десантник, сидя на подоконнике, глядел увлажненными глазами на сыновей и хрипловато тянул « боом...», « бооом...», в коронной нашей распевке «Вечерне-

го звона».

К исполнению Вечернего звона допускались все, но вот приживались – немногие. Он был точным тестом на чистоту души и на созвучие нашей компании. При кажущийся простоте мелодии, он требует не только умения подстраиваться к поющим, но полного слияния в духовной близости, в любви друг к другу, которую словами не высказать.

«Лампопо»

В Ленинград приехал казачий ансамбль песни и пляски. Естественно, как только мы услышали об этом по радио, бабушка извлекла из комода заветный потертый кожаный кошелек, куда ухитрялась откладывать какие-то крохи от своей пенсии, и долго считала, тихо шевеля губами, сколько мы можем истратить на театральные билеты.

Клуб, где должны выступить казаки, находился недалеко от моей музыкальной школы, поэтому мы пошли туда сразу после занятий. До концерта еще оставалось много времени, и бабушка повела меня в буфет. Там она купила два стакана чая и достала бутерброды, завернутые в газету, что привезла из дома. Под брезгливым взглядом буфетчицы, я стеснялся, их есть.

Бабушка строго посмотрела на меня, и я начал обжигаться чаем и давиться булкой с маслом. Бабушка тоже взяла один, как она говорила «для прилику», и перекрестилась, как она всегда делала перед едой и после того, как поела.

Народу в буфете много. К нам подошли два чубатых парня с подносом, и один спросил:

—

Мамочка, можно к вам притулиться?

— Конечно, конечно... — сказала бабушка.

Парни, широкоплечие и белозубые, начали весело уплетать макароны по-флотски. И я сразу понял, что больше всего на свете я люблю такие макароны. Я старался отвести глаза от этой вкусной дымящейся еды и увидел, что за одним из столиков сидят люди в гимнастерках без ремней и синих шароварах с лампасами. Они громко разговаривали и смеялись. Перед ними на тарелке лежали куски тонко нарезанного сала, они клали его на черных хлеб и ели, вероятно, перед этим выпив водки.

— Смотри, смотри, баба — зашептал я, — Смотри!

— Да, вижу, вижу... — сказала бабушка, — Ешь молча. Не кроши.

Парни тоже глянули на тех, что за столиком и переглянулись между собой, как-то странно усмехнулись. А я уже был готов забыть про еду.

— Баба! Ну, посмотри! Это же казаки! Это же наши — донские!

Но бабушка усмехнулась, точно так же странно, как эти парни за нашим столом.

— Нет, — сказала она. — Это не казаки!

— Как же не казаки! Они же в лампасах!

– Вот я сажай вымажусь, разве стану негритянкой?

Парни за столом дружно прыснули.

– Но они же в лампассах!

– Да генералы тоже в лампассах... – сказал один из парней.

– А у этих еще на пятках клетки от лаптей не отошли! –

сказал второй.

Бабушка рассмеялась.

– Мама, – сказал парень, – а вы, какой станицы?

Мне странно было слышать, что он мою бабушку называл «мама».

– Преображенской, – сказала бабушка, ласково глядя на ребят.

– Вот мы и глядим, что именно вот внучок у вас беленький. А он – Верхоплавка!

– А вы с Низу?

– Были Кумшацкие. А что – видать?

– Что чубы, что усы... – засмеялась бабушка. – "Цыганы!"

– Во... и прозвищу знаете! «Чуб завил – все девки наши», – засмеялись парни.

– Ну, почему ты думаешь, что это не казаки? – не унимался я.

– Вижу, – сказала бабушка. – Не казаки.

– А кто ж?

– Артисты, – сказал парень. – Артисты, жаль, ты моя, болючая! Так ведь у вас, мама, на Верху гутарят?

– У нас гуторят, – сказала бабушка: – Гутарить начинают

от Вешек на Низы.

– Ай-е... – удивился парень, – а я – й не знал.

– Шолохов тоже не знал, а ничего.... Живеть, – сказала бабушка.

Парни переглянулись.

– А как вы здесь?

– Да вот принесло под самую блокаду. А вы, не то учитесь где?

– Студенты.

– И на кого ж?

– Врачи.

– Ну, дай вам, Господь... Прямо вот я на вас порадовалась, как дома побыла.

– А чего ж домой-то не возвратнетесь?

– Куда-й то? На кирпичи битые слезы ронить? Ай, да не на что там красоваться, нонь.

– Вот же и то ж... – вздохнули парни: – И наши хутора под водой. Цимлянское водохранилище... Такие виноградники затопили! Лоза в руку толщиной!... А земля какая была – хоть на хлеб мажь...

Ничего я не понимал в их разговоре, кроме того, что говорят они об одном и том же. И удивительно мне было, что говорили они понятные мне слова, а вот о чем, не понять. Но мне хотелось быть с ними вместе, с этими крепкими смугловатыми и чубатыми парнями с темными полосками молодых усов на верхней губе. Хотелось участвовать в этом странном

разговоре, потому с ребячьей настырностью, я заладил:

– Ну, почему же вы думаете, что они артисты?

– Ще и плохие! – засмеялись парни. – Были б хорошие, научились бы сало, как следваить, исть.

– Вот же оно и то ж! – засмеялась бабушка.

– Лампасы понашили на кальсоны! Хохлы!

– Ну, полно шуметь – ат! – смеялась бабушка, взмахивая, кружевным платочком, какой всегда носила за обшлагом кофточка, – Ай – е услышуть!...

– Ды хай слышуть! Шли бы вон индейцев представлять! Ой-е чувствую вот я, будет счас лампопо...

– Как вы говорите? Лампопо? – смеялась как-то, по-молодому, бабушка.

Мне концерт понравился. Особенно, когда казаки показывали, как ездят, как будто на конях, с пиками, и как они пели: «Каким ты был, таким остался!» И я очень удивился, когда увидел, что в перерыве многие зрители с концерта уходят. И усмехались они так, как моя бабушка и эти парни.

А парни к нам подбежали в вестибюле, уже одетые, в пальто.

– Ну, вот нашли, наконец, а не то мы уж думали – вас потеряли... – сказали они, сдергивая кепки, – Мы – попрощаться.

– А как же концерт? – засмеялась бабушка. – Лампопо – то й, как же?

– Силов нету на такое глядеть...

– Ну, и слава Богу. Наклонитесь.

Оба парня резко наклонились. И моя маленькая бабушка, встав на цыпочки, вдруг, среди толпы, среди чужих людей, нисколько не смущаясь, точно тут никого и не было, поцеловала парней в чубатые головы и широко перекрестила одного и второго.

– Сохрани вас, Бог, деточки мои! – и я услышал слезы в ее голосе.

Парни, блеснув глазами, вдруг стиснули меня, подхватив на руки:

– Ты хоть знаешь, кака у тебе бабушка! На ней вот всё и держится! Давай, расти скорейча! Догоняй! – кольнули они меня щетиной усов, – Смотри, казак, берегай бабушку – то! Доглядай!

Мы ехали домой в разболтанном и дребезжащем трамвае, в нескончаемом коридоре обшарпанных домов, тускло освещенных желтыми фонарями. Бабушка чуть улыбалась, прикрыв глаза.

– А почему вы с этими казаками решили, что артисты сало едят неправильно?

– Как это неправильно, – сказала бабушка, – Мимо рта то, небось, не проносят!

– Ну, не по казачьи!

– А... Не по казачьи.... Да потом у что у них сало ломтями нарезано, а казаки режут сало кубиками. Кусочками такими маленькими. И по кусочку берут.

– Какая разница, как сало нарезано!

– Да есть разница. Казаки то всегда ели прилюдно. Это, милый мой, распоследнее дело в одиночку спрятаться да тайком от товарищей наедаться. Казаки, народ воинский, служивый, никогда в одиночку не ели. Трапезовать садились в кружок, а на общей трапезе, нельзя быть невежей, и есть так, чтобы другим на тебя глядеть было не противно. Слюнявого да гунявого мигом бы из круга наладили! И доедал бы он последки! А сало, положенное в ссыпчину (у русских то говорят – в складчину), могло ведь быть и «с проростями», если к примеру свинья тощая, или следы от синяков. Свиней – то, правильные хозяева, никогда не гоняли, не били, все. бывало, лаской да уговорами. А сало с проростями то враз и не откусишь, когда оно – ломтем! Вот и будешь воевать с куском! А всем на тебя каково красоваться?! А кусочек взял, не то вилочкой, не то спичкой – палочка такая длинная навроде лучинки, и жуй аккуратно, хоть бы какое оно жесткое! Да хлебушком закусывай.

– Нам в кино на географии показывали, как эскимосы мясо едят: зубами прихватывают и ножиком – вжик, и отрежут маленький кусочек.

– Так, у них носов нет! – засмеялась бабушка, – вот они и «вжик»! А нам-то с нашими горбылями куда! Вжик – и пол носа стесал!

– А у нас дома сало есть? – уж так мне сальца захотелось.

– Да уж поищу, может и отыщется, – прижимая меня к

себе, сказала бабушка, – какие ж мы казаки, если у нас сала нет! Слава Богу, не блокада, не голод – и сальца найдем, и хлебушка.

– Я его по-казачьи есть буду.

– Ясное дело. Не по бурлацки! Аккуратно. И к еде уважительно, и чтоб глядеть на тебя другим приятно было! Вот, мол, как мальчик красиво ест, не чавкает, не крошит, полный рот не набивает. За едой – не балует! А то есть такие, что из хлеба шарики катают, да надкусанные куски оставляют! Да с чужой тарелки хватают! Кто ж, после него, есть то не побрезгует?! Стыд, какой!

У нас в школьной столовой мальчишки иной раз и бросаются хлебом, и даже глаз мне подбили, когда я пытался их остановить, и бабушка, словно прочитав мои мысли, сказала:

– Бывает – уронишь кусок хлеба, так надобно его, скорей-ча, поднять, поцеловать, мол, Господи прости и не лишай меня, пищи. Сказано: «Бросивший кусок хлеба – Тело Христово и Дар Божий – дождется дня, когда будет искать хлеб там, где бросил, и не найдет!» Мы вот тут в блокаду ...

– Тебе понравился концерт? – спросил я, чтобы перевести разговор на другое, потому что когда бабушка рассказывала про блокаду, мне всегда хотелось плакать.

– Чему там нравиться? – улыбнулась бабушка. – Сказано – Лампопо. А съездили хорошо. Как дома побыли.

– А как эти парни догадались, что мы казаки?

– Да у них, что ли глаз нет? Увидали, небось! Стало быть,

не навовсе мы тут под общую гребенку обтерлись. Выходит, мы еще живы... Господь нашим грехам, пока еще, терпит.

«Быстры как волны ...»

Слава о том, что мы здорово поем и вообще замечательные ребята распространилась по городу. Через комнату по ул. Фурманова 34 прошли толпы гостей, мы всех и не помнили, и перебывали тут люди самые фантастические. И как-то так получилось, что при обилии барышень, даривших нас своими посещениями, при наличии нескольких двоюродных сестер у Витьки и Мишки, внутренних, так сказать, романов не происходило. Разумеется, в ту студенческую пору у нас у всех были романы, но как-то на стороне, и своих дам, мы на Фурманова не приглашали. Здесь было все сориентировано на другое.

Здесь шли бесконечные, умные разговоры, споры и, наконец, происходило пение... Попавшие сюда барышни, вдруг обнаруживали, что, при всем к ним уважении, в этой компании к ним как-то «без интересу». Большинство с этим не могло примириться и нас старались выдернуть из обстановки мужского монастыря. Но поскольку индивидуальные отношения не завязывались еще, то нас вынуждены были приглашать всем хором или, по крайней мере, квартетом : Витька, Мишка, Гришка и я. Но если мы втроем готовы были стать на крыло только при одном звоне ножей, вилок и тарелок и лететь за хорошей выпивкой и домашней закуской

хоть на край света не таков был Гришка. Как все горбуны, он был франтом. И вообще был страшно озабочен своей внешностью.

Если мы довольствовались ботинками на резиновом ходу за 8 р. 50 коп., то он носил лодочки за 22 р.— предельную тогда сумму. Если нас не интересовал покрой штанов и ширина брючин, то Гришка носил дудочки, кроме того, в перпендикуляр нашим свитерам и ковбойкам, у него имелся пиджак, и то чего мы не могли позволить себе при любой погоде, страшный дефицит — белая нейлоновая рубашка. Разумеется, галстук до колен, платочек (отрезанный от галстука) в карманчике, парфюм и набриолиненный пробор. Обычно он возглавлял нашу команду, и как мне кажется, даже гордился тем потрясением, которое вызывала его фигура.

Из-под огромных очков он страстно посматривал на барышень и, надо сказать, пользовался успехом более нас. А когда он запевал своим рыдающим серебряным тенором — все внимание было к нему, мы так сказать его только оттеняли. О чем он нам, в мягкой форме, но постоянно напоминал. Как всякий тенор он был мнителен, а как премьер — капризен.

В тот день, когда мы получили приглашение и затрепетали в предвкушении широкой домашней застолы, он раскапризничался: «Я не хочу, я не могу». Мы убежденные, что «хочет и может, только — сволочь», начали заталкивать его в пиджак. Он отпихивался и упирался и, наконец, придумал: «У меня пиджак мятый! Я не могу позориться!»

– Господи! – сказал рукодельный Витька: – Всего и делов? Айн момент – погладим!

– Как ты его погладишь, придурок! – сказал я ему, – У него пиджак фасонный! По форме тела! Его на гладильной доске не расстелить!

– Еще и лучше! Доску с антресолей не переть! На нем самом и выгладим! Золотые ручки! – сказал Мишка, а Витька уже летел с электроутюгом и мокрым полотенцем.

Гришку облачили в пиджак, накинули на горб мокрое полотенце, поставили утюг, вставили шнур в розетку..... и заговорились...

Вечером прошлого дня, мы «на протырку», с одной контрамаркой на троих, ходили в театр комедии, где смотрели «Физиков» Дюренматта. И естественно, все разговоры были о спектакле. Но не успели мы от уточнения конфликта перейти к блистательной игре Елизаветы Уваровой, как услышали странный звук, переходящий от шипения к визгу. Звук сопровождался дымом и вонью. Мишка ахнул и поднял утюг с гришкиного горба. Завороженно, не смея шевельнуться, мы смотрели, как в прожженную прореху на спине вылезает, словно нос ракеты носителя, выходящей из шахты, белый пузырь, по нему ошметками сползает тающая нейлоновая рубаха и пузырь лопается.

– Чего ты вопишь, Карузо! – пытался утешить Гришку Витька. – Вон у тебя горб меньше стал! Счас, вазелином смажем.... Айн момент!

Мы были тогда большими жизнелюбами, потому что все – таки пошли на званый ужин и там Гришка, стараясь не шевелиться, чтобы не дай Бог, не сдвинуть нашлепку пластыря под свитером, выводил:

«Быстры как волны, дни нашей жизни –
Умрешь – похоронят, как не жил на свете.
Налей, налей, товарищ, заздраваную чару!
Кто знает, кто знает, что ждет нас впереди....»

«Полет Шмуля»

Более оголтелого антисемита, чем Мишка Эпштейн, я в жизни не встречал. Шли шестидесятые. Только начинались все эти истории с отъезжантами и отказниками. Большинство же из нас в этом ничего не понимало, а когда он нам с пеной у рта растолковывал, то очень скоро становилось скучно, поскольку кто какой национальности, тогда всем нам было, наплевать! В огромной Мишкиной комнате, в коммунальной квартире, толклись с утра до ночи дети самых разных народов и нам было диковато слышать все, что нес антисемит Эпштейн. Когда же Витя Богуславский, глядя печально своими еврейскими глазами сквозь тяжелые очки, спросил:

– Скажи нам, Миша, насколько я понимаю, «Эпштейн» – это чисто русская фамилия?

Мишка, вообще, на стену полез и полчаса кричал, что фамилия немецкая, а он – литовец.

В отместку за бестактный вопрос он приволок откуда-то плакат с портретом Антон Палыча Чехова и его словами о том, что «нужно ежедневно выдавливать из себя раба».

– Это! – сказал Мишка Вите Богуславскому. – Специально для тебя!

И красным карандашом зачеркнул слова «раба» и написал «жида», чем Наверное сильно удивил Антон Палыча, который, разумеется, при жизни, ничего такого в виду не имел.

Антон Палыч внимательно, с нескрываемым удивлением, присматривался и прислушивался ко всему, что происходило в Мишкиной комнате и я думаю, что пенсе у него с носа не сваливалось, от потрясений, только потому, что было нарисованным.

Мишка был человеком чрезвычайно влюбчивым. Но, как обычно происходит в таких случаях, бесконечные его влюбленности всегда оставались не разделенными. Он слишком круто влюблялся. Барышни шарахались и разбегались кто куда, как пугливые серны, от огромного, страстно пыхтящего, будто паровоз на высокой скорости, обязательно, часами, читающего стихи, Мишки.

Он огорчался, правда быстро утешался, находя новый объект для своих чувств. И опять по ночному городу летела его громадная, почти двухметровая фигура, в развевающимся белом китайском «Дружба» плаще с неизменным букетом цветов, и все никак не мог понять причины своих неудач. Он менял прически и галстуки, увлекал учениц ПТУ в фи-

лармонию и в Эрмитаж, но все выстреливало как – то вхолостую.

Но вот однажды он заорал как Архимед, «нашел»! Мы приготовились выслушать очередную выкладку из Фрейда, однако, его находка оказалась проста как топор неандертальца

– Потом от меня, жидовским, воняет! – рубанул он.

Мы, представители титульной нации, так и сели от удивления. И только Витя Богуславский поднял к небу свои библейские глаза, что –то прошептал, вероятно обращаясь к богу Израиля, но вслух ничего нам не поведал. Антон Палыч со стены особенно пристально поглядел сквозь пенсне словно предвидел, что этот свой недостаток Мишка обязательно будет преодолевать каким – нибудь радикальным способом, и не ошибся. Скоро Мишка приволок огромную бутылку формалина. Кто научил его такому методу борьбы с потливостью неизвестно. Я думаю – этого человека давно нет на свете, потому что Мишка до сих пор на свободе.

Со словами: «Стерильный буду, как фараон в гробнице!» он налил формалин в тазик. Присутствующие при этом частично разбежались, а оставшиеся зажали носы. Никто не успел предположить что Мишка сделает, да честно говоря, последствий и не предполагали.

Мишка, как всегда горячо о чем-то рассуждая, разделся до трусов, вступил громадными своими ступнями в тазик, почерпнул формалинчика ладошками и поплескал подмыш-

ками.

Несколько минут, стоя в тазике он еще что то возглашал, но затем медленно побледнел, взревел как уходящий под воду Титаник, и огромными прыжками помчался по комнате вокруг стола. Он так махал руками и подпрыгивал, что невольно верилось: – человек может летать!

– Полет Шмуля! – меланхолично сказал Витя Богуславский, когда общими усилиями, с привлечением скорой помощи, этот триллер прекратился. Мишка лежал в позе распятого и тихо стонал.

Витя Богуславский подошел к Антон Палычу на стене, (классик наверняка, за всю свою врачебную практику ничего подобного не видел), и дописал синими чернилами изуродованную Мишкой чеховскую фразу о том, что «нужно ежедневно выдавливать из себя по капле жида...» словами: «чтобы еврей поумнел.»

Мишка болел неделю, хромал месяц. Женился он на татарке и по израильскому каналу уехал в Канаду, где живет и здравствует. А Вити Богуславского нет не свете. Это ведь тот самый – из дела об угоне самолета, какого, как известно, не было.

Одно из двух

Восьмидесятипятилетняя Циля Соломоновна придвигала к окну в кухне «тумбочке», к «тумбочке» приставляла «табуреточке», брала в руки «маленькое такое скамеечке» и на-

чинался головокружительный и смертельно опасный трюк. Оно вставала на «другое маленькое скамеечке», затем, балансируя, своим девятипудовым телом, шагала на «табуреточке», с «табуреточке» становилась коленями на «тумбочке», там выпрямлялась и отдыхала.

Затем, с «тумбочке» перешагивала на широкий подоконник, ставила «другое такое маленькое скамеечке» и, собрав все силы и все мужество, вставала на нее. Открывала «форточке» и высовывала голову на улицу. Ее обширный «тохес» закрывал собою все окно, как широкий экран в ближайшем кинотеатре документального фильма «Хроника».

Она набирала в грудь воздуха и зычно кричала во дворколодец, заигравшемуся с мальчишками, внуку:

– Саша, одно из двух! Одно из двух, Саша, я тебе говорю! Одно из двух: иди домой!

Я не знаю, где ты бродишь Саша, тридцать пять лет назад, с большим трудом, уехавший искать счастья. Не знаю, нашел ли ты его в заморских краях. А здесь в гулком питерском дворе, где уже давно не звучат детские голоса, мне все чудится, будто звон вечерних курантов, будто полковая труба, зовущая на ужин, голос твоей бабушки. Он все еще живет здесь среди умирающих старых питерских дворов, в трех минутах от Невского, он все еще вибрирует в облупленных слепых стенах домов, отдается эхом в бывших коммуналках.

– Саша, одно из двух: иди домой!

Урок атеистического воспитания.

Папа Юры, Абрам Моисеевич, служил не то «засракулем» – заслуженным работником культуры, не то снабженцем. Естественно, был коммунистом, естественно, атеистом. Носил галстуки бабочкой, а на мизинце левой руки длинный ноготь, и всю жизнь чем-то руководил. Воспитанием сына ему было заниматься некогда, но редкие воспитательные уроки его сын Юрий Абрамович помнит всю жизнь.

В четвертом классе, для внеклассного часа, по обязательному тогда, атеистическому воспитанию школьников, он накропал сочинение на тему: «Бога нет!», куда, как ему казалось, очень удачно списал многое из старых журналов «Воинствующий безбожник». Творением своим он очень гордился. А поскольку, по остальным предметам ему гордиться было, абсолютно, нечем, то пионер Юра тут же принес свой труд папе.

Папа внимательно прочитал работу сына и долго молчал, глядя в потолок. Сын терпеливо ждал комплиментов, ощущая себя чуть ли не товарищем отца по партии и, уж в любом случае, единомышленником.

– А скажи мне, Юрик, – спросил папа, – вот корова и лошадь, ведь если вдуматься, похожи? Ведь правда?

– Или! – сказал, пленяясь доверительным отцовским тоном, пионер, – Они же травоядные. Только у коровы рога, а у лошади, наоборот, – грива.

– Вот видишь!

– Да.

– Похожи!... А скажи мне, Юрик, ты навоз конский и коровий видел?

– Обязательно! На даче! Конский яблоками, коровий блином, – отрапортовал юный натуралист.

– А почему он разный?

– Не знаю, – вынужден был признать начинающий последователь Дарвина.

– Вот видишь, Юрик, – сказал Абрам Моисеевич, проникновенно, – ты еще в дерьме разобраться не можешь, а о Боге судишь. Да еще из плохих журналов переписываешь. С ошибками. Что бы я у тебя такое сочинение видел два раза: первый и последний. В другой раз, думай своей головой, сынок.

И уехал играть в преферанс.

«Эмансипат»

На двери была криво прикреплена бумажка с надписью:

« Не звоните!

Не стучите!

Не закрыто!

Заходите!

Умоляем, не шумите!»

Здесь жили Колька и Катька – студенты мухинского училища, будущие дизайнеры. У них недавно родился Вовка. Я тихонечко вошел. В однокомнатной квартире все «эргоно-

мично» — два велосипеда под потолком, боксерская груша, в крохотной прихожей. Поначалу Колька и Катька ваяли гнездо ячейки общества, где с точностью до миллиметра продумали какой вещи, где стоять. Но потом родился Вовка, и гармония нарушилась.

Объемы жизненного пространства пересекли веревки с пеленками, повсюду, как отстрелянные снаряды, встали пустые рожки из под молока, каши и кефира, и как флаги расцвечивания украсили лоджию ползунки.

Раньше в квартире гремела музыка, а теперь непривычно тихо, только вдали на кухне журчала вода и ровно шуршал какой то электроприбор.

У раковины стоял бывший сержант морской пехоты, ныне студент и отец семейства Колька. На широченных его плечах — катькин домашний халатик, живот с желваками мышц, делающий его похожим на булыжную мостовую наполовину скрывал изящный передничек.

— Привет! Катька на курсах... Вот не могу запомнить на каких... То ли языка, то ли кройки и шитья, то ли в автошколе... Эмансипация! Блин!

Перед лицом Кольки за стеклом буфета стоял раскрытый учебник английского языка, к ноге привязана веревка, другой конец который уходил на лоджию —и таким образом ногой Колька мог качать коляску, в ней, на свежем воздухе, спал Вовка. На груди у Кольки шуршал включенный вентилятор, поскольку в раковине под струей воды Колька чистил и резал лук.

– Во! – сказал он. – Механикус ... Чтоб не плакать!

Вентилятор вращался, коляска на балконе поскрипывала, вода лилась...

– Ну, а вообще чем занимаешься?

Колька глянул на меня глазами истерзанной собаки и рывкнул сержантским басом:

– Месячных жду!

Заяц переодетый

Мой кум Владимир Петрович Тихонов один из лучших охотоведов и охотников страны, был личным егерем у градоначальника Григория Васильевича Романова – тогдашнего первого секретаря Ленинградского обкома партии. Вероятно, рядом они составляли замечательную пару, поскольку всесильный тогда Романов был Петровичу, фигурально выражаясь, по колено. Воспитанный, образованный интеллигентный Петрович меньше всего похож на егеря. Он похож на директора завода, на бизнесмена. Он не ругается матом и не совершает иных деяний, приписываемых простому народу, поэтому и охотничьи рассказы его интеллигентны и лишены традиционного матерного смака.

Мода на охоту, как на изысканное времяпровождение в СССР, восходит к Ворошилову и Буденному. Любил, говорят, пострелять и товарищ Сталин.

А поскольку зверь живет по своим законам и тонкостей политики не понимает, пришлось завести целые охотхозяй-

ства, где вождям «стрелять подавали». И туда приглашали дружественных вождей, почетных гостей и лиц особо приближенных... Разумеется, настоящей охотой при этом и не пахло. Расстреливали почти ручных животных, но и при этом бывали проколы..

Однажды Никита Сергеевич Хрущев пригласил вождя прогрессивной, социалистической части немецкого народа товарища Эриха Хоннекера или Вальтера Ульбрихта пострелять зайцев. За тем и отправились в охот. хозяйство. Но зайцы, как особо несознательный элемент, вроде колхозников или диссидентов, не пошли навстречу запросам высокой политики и все из охотхозяйства не то разбежались, не то, не дождавшись смерти от рук вождей, передохли.

Егерь, заячий пастух, завыл-застонал и пал на колени перед Петровичем – мастером нетривиальных решений

– Голубчик! Отец родной! Спасай!

– Да верно ли что едут? Может, еще пронесет...

– Кой хрен пронесет! Уже на пути к нам! Из Москвы звонили...

– Эх! Была, не была! – сказал Петрович: – Деваться некуда!

Когда, после обильного возлияния, вожди с ружьями в руках, вышли на крыльцо охотбазы, охрана дала отмашку «Пускай», в двадцати шагах от Хоннекера или Ульбрихта и Хрущева по сугробам заскакал заяц. Вожди бабахнули из двух стволов. Заяц ударился в бег. Грохнули вдогон из за-

пасных ружей, и заяц, вдруг добежав до ближайшего дерева, скакнул на него, шустро полез по коре и замер на ветке. До охотников явственно донеслось «мяу».

– Попал! Попал! – заорали егеря и поволокли из-под дерева уже освежеванную добычу.

Но товарищ Хоннекер или Вальтер Ульбрихт все-таки утверждал, что заяц лазал по дереву и мяукал.

– Закусывать надо! – дал дельный совет Никита Сергеевич.

Хоннекер успокоился и торжественно ел рагу.

А на кухне, Петрович распарывал заячью шкуру, куда был зашит кот, исполнявший роль зайца. В компенсацию за пережитый страх, кот был премирован пузырьком валерьянки.

А эту историю я слышал уже в качестве исторического анекдота, правда, там действовал Фидель Кастро.

Пробоина

Мой кум Олег Петрович Тихонов имеет рост 1 метр 96 сантиметров, вес 146 кг. Телосложение атлетическое, походка тяжелая. Я говорю об этом, потому что однажды он сам этого не учел и чуть не погубил единицу рыболовного флота.

В хлопотной должности, как бы придворного охотника и рыбака, Петрович очень нуждался в поддержке местного населения.

Приезжает, например, неожиданно товарищ Романов с другими ответственными товарищами, на уху. Часа полтора

удочками помашут, полтора пескаря выудят, а уху подавай человек на тридцать, тут всегда выручали местные профессионалы, которые на МРТ производства 1938 года всегда бывали при улове. И то сижков, то лещей да угрей, да какой либо еще рыбешки подбросят. Петрович в долгу не оставался и, к обоюдному удовлетворению, рыбаков, равномерно, благодарил. Соответственно, водкой.

Однажды, когда благодарность его была чрезвычайной и выражалась в двух ящиках поллитровок. Приехал Петрович на пирс, взял ящики и подошел к пришвартованному МРТ. Судно стояло метрах в двух ниже пирса, и рыбаки чем – то были сильно заняты.

– Куда сгружать –то? – спросил Петрович.

– Давай в трюм! Прыгай сюды!

И Петрович, не подумавши, что судно –то деревянное, прыгнул. Вес, в районе двух центнеров "в точку", оказался для корабля великоват. И Петрович как танковая болванка с двумя ящиками в руках мало, что пробил палубу, прошил трюм, но и пробил деревянное днище. Но к счастью, падая, он согнул ноги и вошел в соприкосновение с днищем не ступнями, а иной достаточно широкой частью тела, а иначе так бы и летел до самого дна Ладожского озера.

Провалившись и оказавшись наполовину в воде, Петрович, было, рывнулся вылезти, но шкипер заорал благим матом:

– Сиди! Не моги вылезать, пока мы пластырь не подведем!

– Ребята! – стонал Петрович, – Чай, не лето! Замерзаю! Октябрь ведь! Радикулит у меня!

– Тяни водку, тем более, в руках держишь!

Тем и спасался Петрович, пока сидел в пробоине, а рыбаки не подвели снизу парус и не заткнули, чем Бог под руку послал, дыру.

– А встал бы – дыра метр на метр, через две минуты бы на дне оказались бы! – говорили рыбаки, когда вытащили судно на берег и допили водку.

– Но ты, Петрович, больше с пирса на судно не прыгай!

– И знаешь что... Ты нам и ящиком водку не кидай! Ты поставь ящичек на пирсе и аккуратненько вахтенному по бутылочке из рук в руки, из рук в руки... А то второй раз так удачно может не получиться.

Рыбки

(Рассказ старого милиционера.)

Я, знаете ли, детективы, конечно, люблю, но то ли я старый стал, то ли кино переменилось. Все это бах, да бах... Да погони. И все, знаете ли, техника, экспертиза. А у сыщика главная техника – голова, и способ один на все времена – понять психологию преступника. Ну, как у Станиславского – искусство перевоплощения... Да нет не в том смысле, что преступником прикинуться, а за него все продумать... Ну не продумать, а как бы, стать им и принять его решения...

Я вот объяснить толково не могу, но примерно так. У меня

был в шестьдесят восьмом году характерный случай. У нас, знаете ли городок маленький – традиции не традиции, а свой стиль есть. Как начальник, в любом ранге, так и по отчеству, а как по отчеству, так и солидность.... Но я, вообще –то и тогда уж из пионерского и даже из комсомольского возраста уже вышел, но до отчества то далеко, хотя но сыскарь уже со стажем... Относительно, опытный...

Городок у нас, как видите, невелик. А я здесь и родился, и учился, и женился. Все здесь. В маленьких городах, что хорошо: все друг друга знают, все друг другу знакомы, и если не прямо, так через третьи руки, а все же информация идет. Это, знаете ли, работу облегчает. Вот.

Приходит сводка: из мест заключения бежал преступник, уроженец нашего города, у него здесь мать, значит, возможно появление и надлежит организовать и так далее.. Ну мы, как водится, реагируем, организовываем ... А городок-то сами видите – у нас коза потеряется и то событие. А здесь как из ведра пошло!

В центральном универмаге за один день пальто, рубашку, и костюм украли, да ещё пару ботинок хороших... На другой день в другом, уже в продуктовом магазине, средь бела дня из кассы всю выручку взяли, и никто ничего не видел. А у меня в те поры помощник объявился лейтенантик, молодой такой, башковитый... Нынче в больших начальниках ходит. Ну, он мне сразу. как на горохе:

Он! Беглый! Ясно – одна рука!

Вот жили, не тужили, а тут сразу три дела: беглый да два магазина. Начальство трезвонит, лейтенантик мой рогом землю роет. А милиции-то раз два и обчелся. Лейтенантик да пара сержантов, как хочешь так и вертись, опергруппу не шлют, знаете, с людьми-то всегда нехватка.

– Вот и крутись как хочешь – тут и профилактика, .и текучка, .и учет и ещё этот на наши головы

Жена моя видит такое дело – давай на свой лад утешать. А она уже тогда утешала занимательно. Она не смягчает, и действительность не лакирует, она исключительно на примерах из жизни, кому ,значит , на данном этапе ещё хуже, чтоб наше несчастье пустяком казалось. Вообще-то, знаете -ли,– способ! Вот.

Ну, кручусь это я ночью, уснуть не могу, а она и давай гудеть:

– Это, Ваня не беда, что у тебя неприятности / какие именно, я её не информирую, но она и так чувствует/ вот у людей несчастье так несчастье...

Я – ноль внимания. Женщины они как радио, только без выключателя.

– У Наталии-то Николавны, что в аптеке работает.. Ну, полная такая, сынок из тюрьмы сбежал.

Тут я несколько подвстрепенулся:

Как сбежал?

Уж не знаю как, а только сбежал. Теперь по городу ски-тается. Она , бедная, все глаза проплакала. То в тюрьму уго-

дил, шутка ли матери такое снести, то вот теперь сбежал... Вот горе -то.

Я не утерпел говорю:

– Не надо было преступления совершать... «Горе»!

– Да что ты, Вань, такое говоришь! Он и не совершал! У него в аптеке какие-то лекарства пропали.

– Не совершал – не сидел бы! – говорю, – Не на то он поставлен, чтобы ушами хлопать! Да и за это не такой срок чтобы бегать. Вот поймают его – так наматывают как надо! Зачем сбежал-то?

– Да ну тебя! – говорит, – Вечно ты своей принципиальностью как оглоблей машешь! А я его знала ещё мальчиком! Хороший мальчик такой. Все химию, биологию учил, рыбками увлекался... У него за рыбок всякие грамоты есть... Ду-ду-ду-ду...

Я, помниться, задремывать начал, а потом как толкнуло меня –проснулся и все про рыбок у меня в голове вертится! Тюрьма-то не санаторий! Там- шаг влево шаг в право, все руки за спину , все в строю... А тут рыбки. Аквариум , говорят, нервы успокаивает. Скалярии полосатые, гуппи – бока в радуге, вуалехвосты... Тишина. Ошалел парень в колонии, к рыбкам и подался, дурак!

И жалко мне вроде его и долг, знаете ли служебный, да и азарт. Азарт он тоже имеет место – вот поймаю, вот накрою... А ночь, знаете ли,... И так то легко мне себя на его место поставить! Он из колонии-то ушел, потому что оша-

лел: ничего не готовил, не обдумывал – раз и ушел, как тот колобок от бабушки! Лейтенантик-то его, по всей науке, в засаде сторожит, а он про науку не слыхал, потому и не попадаетеся!

– Батюшки! – думаю, – он и магазины потряхнул с перепугу! Подошел к кассе, а кассирша тары бары с продавцами. Такая она у нас стерва: склочная, крикливая, как заведется – себя не помнит! Она кому-нибудь кости мыла . В экстазе! Касса открыта! Он руку протянул – вот и все! Спит он неизвестно где, чего ест непонятно. Стало быть, совсем ощущение реальности у него потеряно. Он как пьяный! В предыдущий момент не ведает ,что сделает в последующий...

Утром, ни свет ни заря я на первую электричку и Питер. Тут ведь недалеко. И первым делом в зоомагазин. Там старичок -лесовичок.

– Был, – говорит, – молодой человек. Все на нем, действительно, новое :и пальто и шляпа. Худой. Очень худой. Вчера целый день на рыбок любовался... да ...с любителями говорил, а сейчас вот только что поступили белки, так он купил всю партию и ушел. Бегите, вы его догоните.

Я ноги в руки. Первого пацана спросил: «Куда дядька с клетками пошел?» Так он меня до самого парка чуть не на себе тащил. А там уголовник мой митингует! Вокруг него прямо-таки детский праздник

– Дети! – говорит. Те ему в рот глядят.– Нет ничего дороже свободы! И нельзя отнимать её у живого существа! Вы

представьте себя на месте этих несчастных белок. У них наверное, есть мамы, которые по ним плачут.

Я стою как три тополя на Плющихе! Вот он преступник – бери голыми руками... Больше того, не арестовывать – преступлению пособничать. Но не могу! Стою, слушаю!

Уговариваю себя : мол нельзя при детях. Нельзя им психику травмировать. Они на него как на живого Деда Мороза смотрят. А он и рад! Раскраснелся весь, распахнулся. Шляпу на землю скинул, а головенка-то стриженная как у первоклашки, с кулачок, и уши торчат.

– Сейчас,– кричит,– Мы вернем белкам отторгнутую свободу!

Дети, значит, «ура»! А утро хорошее – бабье лето. Лист, знаете ли, золотой шуршит. Небо высокое, синевы необыкновенной... Один натуралист, говорит:

– Белок нельзя сейчас отпускать, у них нет запасов на зиму!

Мой беглый весь затрепетал:

– Ты все рассчитать хочешь,.. Все по расчету! И вот тут ты ошибаешься. Потому что есть такие обстоятельства, что за глоток свободы можно жизнь отдать...

Сейчас то оно странно, а тогда конец шестидесятых – романтика. Сейчас бы его, может, и ребятишки не поняли. А тогда – другое время! Я то, например, его хорошо понимал. Одна девчонка натуралиста по лбу:

– Мы белок всю зиму кормить будем! Давайте, дяденька,

выпускайте!

Мой ЗЭК её расцеловал и предоставил право открытия клеток!

Девчоночка присела, дверцы открыла... Платочек кулечком, пальтишко красненькое с кушачком... Ребяшня вся притихла, а натуралист опять

Они не побегут! Они к клеткам привыкли.

Они и точно не выходят И я, дурак, расчувствовался – уж больно хочется, чтобы они, значит, выскочили! А они как догадались! Как брызнули по веткам, только хвосты трубой. Тут такой визг пошел и танцы на лужайке. Зек мой стоит, по щекам слезы, а сам как именинник. Ребята за белками гурьбой. Мы с ним вдвоём остались, и уж нет мне оправдания, а рука не подымается. Не могу, знаете ли!

Постоял он, подобрал шляпу и пошел. Ну, я, естественно, сзади. Он на вокзал, на электричку. Тут я, знаете ли, сообразил. Успел. Забежал в пикет звоню: «Снимайте засаду! Снимайте, в мою голову!» Понимаю, что он сейчас домой пойдет. А там мало- ли что!

Дальше веду, знаете ли, его не по методике! Боюсь, знаете ли! Будешь тут по науке, а он, черт его знает, что может выкинуть! Романтик!

Еду с ним впритирку, в одном вагоне. Он с голодухи задремывает, а я его рассматриваю. Худющий, ушки топориками. Ногу на ногу закинул, а носков нет... Носки в другом отделе были. Грабить боится, в столовую идти боится – ви-

дать -голодный. А тогда не то, что нынче, с питанием было сложеновато. Общепит, и все...

Приехали. Он, напрямиком, домой. Слава Богу, лейтенантик мой послушался – посты снял. Пошел он домой, я во дворе на детской площадке сижу. И честно скажу, чего делать не знаю. Часа полтора сидел.

Выходит мой Зек и прямо ко мне:

Ну, говорит,– теперь ведите меня. Я вас давно заметил.

Я спрашиваю:

– Ты дома то поел чего -нибудь?

– Нет, – говорит,– я не хочу, чтобы мама догадывалась, что я домой заходил.

Повел я его в столовую. Покормил. Он поел. Разморился.

– Что ж это, – говорю, – ты натворил-то!

Голову вниз.

– Да вот, – говорит – уж так вышло.

– А как,– спрашиваю, – костюм раздобыл?

– Видите -ли, -оправдывается, – я его брать не хотел. Я и в магазин зашел случайно А как увидел своё отражение, даже испугался, будто не это я. Я себя в витрине увидел. И пошел в настоящее зеркало посмотреть. Ватник снял, а тут как раз обеденный перерыв. Я как раз в кабине стоял... Ну, я переоделся и вышел, ещё ботинки взял... А у них не запирается. У них стул в двери стоял.

– Что ж вы меня не арестовываете? Ведите меня быстрее, пока мама на работе, а то ещё встретимся....

– Знаешь, – говорю я ему, – Ты иди сам... Вроде как сам пришел. Приговор полегче будет.

– Спасибо, – говорит. Пошел по улице, потом вернулся:– Если вам не трудно, – говорит, – вы, пожалуйста, идите сзади. А то боюсь, что у меня мужества не хватит – самому идти. Мне с вами спокойнее. Знаете, я вас сразу узнал. Вы к нам в школу приходили, про милицию рассказывали... Помните?

Вот, так вот... Нетипичный, конечно, случай, но эпоху иллюстрирует... У меня за сорок пять лет службы, такой случай, может быть, один и случился. Нетипичный...

Да и время было другое. И народ сорок то лет назад был добрее. Еще войну помнили....

Сострадатель

Пьяный – такой же неотъемлемая деталь русской, действительности, как, скажем, белые березы, снега и морозы – русского пейзажа. Говорят, у якутов существует восемьдесят слов для понятия «снег», поскольку якуты постоянно видят его перед глазами. Я думаю, что в русском языке самое большое разнообразие эпитетов имеет состояние опьянения. Дернуть, бухнуть, кирнуть, вздеть, садануть, хлопнуть, принять на борт и т.п. и даже, совершенно необыкновенное, слово «влумонить», отражает момент принятия алкоголя. Состояние же опьянения имеет еще большую палитру – дунувши, приторчавши, навеселе, под шафе... Каждый читатель легко расширит этот словарный запас за счет собственных

наблюдений.

К сожалению, наш родной отечественный алкаш, в настоящий момент вытесняется, из давно обжитого ареала в быту и в сознании, наркоманом. А тут уж не до смеха.

Даже если и водку считать одним из видов наркотиков, как табакокурение и даже как обжорство, то сам посыл в наркотическое опьянения – оскорбителен и противоречит нашему национальному характеру. Ибо пьяница, по сути своей, эстраверт, то есть особь, распахнутая навстречу всему миру! Само распитие предполагает членство в коллективе. Классический вид выпивки – раскатать на троих. (место распития и качество употребляемого значения не имеет) после чего наступают глубокие психологические раздумья на тему: «Ты меня уважаешь?» и пр...

Наркоман – волчара-одиночка, по определению. Если поиск выпивки, как правило, проявление заботы о коллективе, то поиск дозы – гадкое стремление получить удовольствие в одиночку. Если стакан – повод для общения, то шприц – повод для ухода от действительности.

В пору моей молодости никаких наркоманов, фактически, не существовало, алкоголизм не имел агрессивной направленности, а наоборот был насквозь пропитан чувством коллективизма и сострадания к ближнему и всему человечеству. В чем нас, например, убеждает повесть В. Ерофеева Москва-Петушки.

Расцвет российского задушевного, лирического пьян-

ства припал на шестидесятые года, когда благосостояние неуклонно росло, коммунизм ожидался в 1980 году, а недавняя и еще остро памятная война, рождала в людях доброжелательность и чувство локтя. В те чудные годы, можно было всю ночь прогулять с девушкой по набережным Невы без боязни вернуться домой с побитой мордой. Расцветал авто-стоп, и было ясно, что человек человеку – друг, товарищ и брат, а совесть – лучший контролер.

Так было написано во всех трамваях и другом общественном транспорте, в которых кондуктор умер как явление. Вместо них встал железный ящик кассы «честных людей». И в моменты трамвайной давки, когда пассажир, вскочив-ши на своей остановке, вместе с распаренной, помятой женщиной, об которую его утеснял переполненный вагон, иногда понимал, что теперь, как порядочный человек, обязан на незнакомке жениться, еще не звучали слова: «Передайте на билет!» – завезенные в Питер из Одессы и других югов, как и обращение по половому признаку: «женщина-мужчина», вытеснившее партийное «товарищ», конституционное «гражданин-гражданка» и классическое питерское обращение: «дама», «молодой человек», или «деушка», разумеется, возраст тут силы не имел.

Допускаю, что в часы пик, можно было, в редких случаях проехать зайцем, но в остальное время все пассажиры неусыпно следили за правильностью оплаты проезда и багажа, и если не делали замечаний, то жгли виновного такими

взглядами , что он либо вынужденно платил, либо выходил... Выразать свое мнение вслух в питерском транспорте вообще не принято, не Ростов на Дону , не Одесса, но случались исключения.

В вагоне трамвая: все сидячие места заняты, но проход совершенно свободен, а на переднем сидении, предназначенном для инвалидов, беременных, престарелых и женщин с детьми, обращенном ко всему вагону лицом, традиционно, сидит пьяный, появляется нежный молодой человек с букетиком ландышей и трепетная, в белых носочках и прыщиках, девушка. Ландыши, голубые глаза и прыщики тут же вызывают симпатию у всего вагона, равно как и у пьяного. Он тоже советянин и полноправный гражданин, хотя и выпивший.

Молодой человек, достает из кармана парусиновых брюк горсть монет, чтобы, как положено, приобрести трамвайные билеты, но тут трамвай дергается и монеты, звонкой россыпью, как весенний дождь, летят по вагону. Молодой человек с ландышами резко наклоняется, чтобы их собрать и раздастся некий звук... При этом звуке все пассажиры поворачиваются к окнам, точно там вдруг появилось нечто необыкновенно интересное. А молодой человек, залившись краской, продолжает сбор монеток. Когда же он заканчивает свое деяние и с облегчением бросает две трехкопеечные монеты в кассу, раздастся громкий и полный сочувствия голос пьяного:

– Ну, что, пердун, все собрал?

Ах! Не вернется то золотое время всеобщей любви и участия,... Не вернется!

Юридический казус

Эти две детективные истории произошли в Питере и Ленинградской области. Мне их рассказал замечательный юрист преподававший в Университете и на высших курсах повышения квалификации следователей, как пример юридического казуса, когда и при, казалось бы очевидном нарушении закона, нарушения закона нет, или еще круче: и преступники есть, и убийство, и даже труп, а наказать, по закону, никого, нельзя. Впрочем, судите сами.

Взятка?

Жил был в городе Ленинграде юрист, служа где-то, на какой-то копеечной должности. А денег хотелось!

И долго его мозг, унавоженный высшими юридическими знаниями, искал щель между законом и беззаконием, чтобы, так сказать, не преступить, но, само собой, иметь! И такая щель отыскалась.

Адвокат обладал хорошей памятью. И скорее всего по делам своей службы, ежегодно объезжал несколько университетских городов, где заходил в высшие учебные заведения и внимательно изучал списки ведущего профессорско-преподавательского состава. Затем запомнив основных, ехал на юг, краткий промежуток, между выпускными экзаменами в

школах и приемными в институты.

Там на пляже или в пунктах питания, он обязательно, но как бы случайно оказывался рядом с семьей обеспеченного абитуриента, которого состоятельные родители вывезли на юг, поддержать здоровье и который уже подал документы в какой-либо престижный ВУЗ.

Далее схема действий была проста как кочерга. Разговорившись, как бы, случайно, с семьей абитуриента, адвокат, невзначай, спрашивал в какой ВУЗ стремиться юное дарование и, со смехом, бросал:

– Надо же...там мой двоюродный брат (такой-то, полное ФИО) – ректор.

На этом его усилия кончались. Просьба поступала либо немедленно, либо после длительных приглашений в рестораны и всяческого ублажения адвоката. (Так что на юге он пребывал, практически, бесплатно.) А дальше, шел текст: «Надо помочь!»

Он, конечно, категорически, отказывался, но после долгих уговоров ставил условие, (как порядочный человек): «Да, он поможет, кому нужно скажет и где нужно смажет... Но, если мальчик или девочка не поступят, по каким-то объективным и непреодолимым причинам, то его (ее) родители адвокату ничего не должны. А вот если вожаемое поступление состоится, то после получения студ. билета, родителям, новобранца, следует выслать в адрес адвоката 300 рублей – на погашение представительских расходов. (Авто-

мобиль «Москвич» в те годы стоил. 8600 руб.)

Расчет был безошибочным. Не прислать деньги не могли, даже если догадывались, что никак он не помогал. Рассуждали благоразумно: «помогал или не помогал, а вот нагадить – сможет». Тем более срабатывала эйфория оттого, что ребенок поступил.

Это – времена и конфликты, запечатленные замечательным драматургом Виктором Розовым в самой знаменитой пьесе начала шестидесятых «В поисках радости!» В институты стремились все! Конкурсы – умопомрачительные, и в клиентуре адвокат не нуждался.

Так проходили годы. Адвокат разъезжал по курортам и жил безбедно, но безвестно.... А ему хотелось славы! Ему хотелось плюнуть в лицо, бездарным адвокатишкам, тем, что всю жизнь, роются в пыльных делах и грязном белье подсудимых, чтобы заработать, тогда совсем жалкие, копейки. Дать пощечину тем, кто не принял его в коллегия адвокатов, поскольку он, как бы, не имеет адвокатской практики.

Но, как и положено поскользнулся он на арбузной корке... про бананы тогда редко кто слышал...

Попался о на ерунде, на пустяке, какого не учел. Письмо-носка, воспитанная в крепком сталинском духе бдительности и доносительства, сообщила во всесильный тогда КГБ, что адвокату, практически, нигде не работающему, в октябре начинают десятками поступать денежные переводы из разных городов нашей необъятной Родины, причем, удивитель-

но, что все на одну сумму «300 рублей».

При тогдашних возможностях КГБ адвоката быстро вычислили и, как говориться «припасли», но ничего бы не доказали, если бы он сам, припадке тщеславия, не выложил свой метод. По закону его прихватить никак не могли, поскольку взяткой считается получение средств или иных форм вознаграждения за исполнение или неисполнение своих должностных полномочий. Ни под одну букву статьи УК деяния адвоката не подходили. Ему не могли пришить получение взятки, тем более, что все «даватели» от своей части преступления отказались!

Но в те строгие времена ему припаяли, что-то другое.... Даже кажется не мошенничество, а тунеядство, что-ли.... И была оценена его гениальность, вполне соответствующе, прокурором, который счел действия адвоката несовместимыми с моралью советского общества, а это уже тянуло года на три.

Ибо на всякого мудреца довольно простоты, тем более в нашем Отечестве.

Убийцы

Так вот, если в первом случае, карать не за что, поскольку и преступления вроде бы нет. Мало ли кто кому, от чистого сердца, деньги дарит, то во втором случае и убийство есть, и убийцы от него не отказываются, и труп в наличии, а наказать, по закону, никого нельзя...

Утверждалось, что эта история произошла в районе Зеле-

ногорска, на Карельском перешейке, все в те же, незабвенные, шестидесятые.

Двое молодых людей, безупречной биографии и поведения, имеющие охотничьи билеты, с уплаченными взносами, на свои трудовые деньги, с полным юридическим правом, вскладчину, (что законом не возбраняется) приобрели охотничье ружье.

Далее, как положено, в разрешенном для стрельбы и охоты месте, пошли ружье пристрелять. Стреляли по бутылкам и банкам, по очереди, стандартными патронами.

А когда истратили боезапас, то чуть дальше банок и бутылок, обнаружили труп старухи, собиравшей грибы и убитой наповал одним из выстрелов.

Суть казуса в том, что оба были готовы признать себя виновным. От убийства, по неосторожности, они не отказываются! Но бабка была убита одним выстрелом! Стало быть, убийца один, а второй соучастник, но кто убийца, кто соучастник?

Если будет обвинен один, скажем тот, на кого было записано ружье, (хотя вроде бы, оно было указано в двух охотничьих билетах. Ребята собирались охотиться врозь и по очереди.), то где уверенность и доказательство, что убил именно он, а не его товарищ, который от вины своей не отказывается тоже?

Патроны стандартные, стреляли оба, а определить каким выстрелом убита старуха – невозможно.

В результате, в данном случае, неумышленного убийства по неосторожности, убийцам можно инкриминировать, что угодно, но не убийство... Кому из двух?

До революции, в подробных случаях была, судебная формулировка: «подвергнуть церковному покаянию», то есть оставить на волю Божию.

И в советское время дело об убийстве осталось незавершенным, поскольку с точки зрения закона, завершено оно быть не может. А в 60- годы, вопреки нашим нынешним представлениям, в серьезных делах, таких как убийство, закон соблюдался неукоснительно.

Пластун

До войны город Зеленогорск назывался Териоки и считался территорией Финляндии. Мы же – советские люди, со своей стороны, считали эту «исконно русскую», как водится, землю, незаконно отторженной финнами, поскольку хотя тут финны хотя и проживали, все же это – бывшая территория Российской Империи. Но с другой стороны, тогда и Гельсингфорс, он же Хельсинки – тоже относился к Российской Империи. В данном случае меня эта историческая часть дела не интересует. Я собираюсь рассказать о другом.

В шестидесятые годы на территорию Карельского перешейка, впервые после войны, стали приезжать финские туристы. Туристы приезжали, отыскивали фундаменты своих хуторов, фотографировались, плакали и пили водку до поте-

ри пульса. Потому в Финляндии тогда соблюдался сухой закон. Финнов как бревна грузили в международные автобусы, а пограничники с каменными лицами при автоматах и собаках, на глазах у рыдающих финнов выливали водку, прихваченную туристами, из бутылок в люк канализации.

Правда, говорят, там в люке у пограничников находилось хитро закрепленная емкость, куда и попадала реквизируемая водка. Не пропадать же добру! У какого русского, тем более солдата поднимется рука водку в канализацию вылить!

Финнов заграничных мы раньше не видели и поскольку их совершенно не боялись и чувствовали себя победителями, а финнам сочувствовали и даже жалели. Но финский акцент нас очень веселил. Народ во всю подражал финскому акценту и сильно в этом деле поднаторел. А в остальном финны – как мы такие же белые и голубоглазые, как и ленинградцы, понастроившие дач в районе Зеленогорска.. В частности, один из моих приятелей, по кличке Салат, научился дурить швейцаров, когда ходил в рестораны, минуя очереди, потому как ловко выдавал себя за финна, за иностранца. «Скасытте посаалуйста... Спасиппо...» и т.д. Дело не хитрое. Понаслушались как финны по-русски говорят – теперь хоть кто за финна сойдет. На вид то не отличить, кто русский кто финн.

И вот, в районе, примерно, станции Репино, бывшая Куоккола, в канаве около вокзала, просыпается некий советянин. Вероятно, приезжал к друзьям на дачу и так там на стакан присел, что в электричку не погрузился, а залег в кана-

ву. Здесь в холодке проспался, но так как принял дозу значительную, проснувшись, прочухался не вполне. А чуть продрал глаза и приподнявшись на карачки увидел мужика в штанах на подтяжках и в шляпе, косившего в канаве траву.

– Э... Мил человек... – а с похмела язык ворочается с трудом, – Скаж палста... Где это я?

– Этто – говорит мужик, – Этто ... Финлянтия.. Трррас-туйтте. Топрый утра!

– Мать честна! – тут этот, что на карачках стоит, понимает весь ужас своего положения и больше с карачек уже вставать не пытается. Наоборот, падает на брюхо и норовит сообразить как он в Финляндию то попал и что ж теперь ему за это будет...

Ничего вспомнить не может, но решает твердо, во что бы то ни стало, вернуться на Родину.

– Мил человек, – спрашивает он косаря, – А граница далеко?

– Нет... – говорит раздумчиво и почти по-фински косарь, – относиитттельно не талекко...

– А к примеру где?

– Этто таам! – и показывает на север. Чистая правда – до советско-финской границы тут километров семьдесят... Правда, Зеленогорск (бывшее Териоки) расположен как раз по дороге. И никак его не миновать. Может финн сказал бы и об этом, но не успел. Или может словарного запаса у него маловато – не выразить мысль! И вообще финны они медли-

тельные. Говорят медленно.

А мужик в канаве соображает быстро и решает, во что бы то ни стало, уползти на родную землю.

Повернул носом на север и по канаве пополз. Говорят километра три прополз, пока ему детский садик на прогулке не попался. Дети его окружили, стали на него пальчиками показывать поскольку он выглядел – мама не горюй! И друг дружке объяснили, что «дядя упал». Тут только наш пластун и сообразил, что если дети русские, значит, он не по территории сопредельного государства, а по своему Отечеству ползет.

Назад три километра он как спринтер бежал, даром, что и из сил выбился, пока полз. Тут у него второе дыхание, можно сказать, открылось – уж больно хотелось этому «финну» морду набить.. Но, конечно, «финна» уже и след простыл.

А с другой стороны, финн то мог быть и настоящий! И наш – советский! Он ведь все точно сказал и что граница недалеко, и в той она стороне. Это точно... И про то что это территория бывшей Финляндии – тоже правда. Одно внушает подозрение, а откуда тут финну взяться?! Если они здесь только до войны жили. В социалистические шестидесятые тут никаких финнов в наличии не имелось. Скорее всего это такой же финн был как наш алкаш – перебежчик.

Зато теперь туристам показывают канаву, где этот мужик полз. Для наглядности: как мы в шестидесятые годы сильно Родину любили и не желали ее покидать ни в каком состоя-

нии.

«Салат»

«Салат» был типичным городским персонажем конца 60 – х начала 70 – х

годов. Свою кликуху он получил от официантов, поскольку почти каждый вечер появлялся, в не многочисленных тогда, ресторанах и кафе. Занимал столик и на вопрос официанта «Что будете заказывать?» традиционно отвечал « Ну, так.... Что-нибудь ... Принесите пока какой – нибудь салат...» Шустро шел танцевать и вскоре уходил с очередной женщиной, оставив на столике двадцать копеек. Более получаса он не задерживался. И официанты, увидев его, перемигивались – « Салат пришел» и даже гордились тем, с какой скоростью он «снимал грелок и мочалок»

Знакомство с женщинами было единственной его жизненной целью. Обычно в понедельник он появлялся перед проходной завода Красный треугольник или Красная нить, где, по преимуществу, работали молодые незамужние женщины, когда они шли со смены. С невероятной скоростью заводил новое знакомство и с очередной «мочалкой» или «грелкой» шел ни в ресторан, ни в кино, а в зоопарк, где подводил свою новую знакомую к клетке с обезьянами. И по реакции ее на обезьяний половой акт, предугадывал – уложит он ее в среду или в субботу в койку или будет «пролет». Такое тоже случалось, и Салат стоически шел в свой НИИ, где служил МНС

ом, с подбитым глазом или расцарапанной, но очень индифферентной, рожей.

Занималась заря сексуальной революции, и Салат встречал ее в полном расцвете сил. Как говорится, «в самом прыску и всегда на вздыге». Его половой активности сильно способствовала кооперативная однокомнатная квартира – редкость по тем временам – единственным обладателем, которой он был.

Иногда Салат попадал в гости, где вел себя поначалу очень скромно, вполне в стиле «физиков и лириков» тех лет. Но сексуальная озабоченность предавала ему особую деловитость. Громким шепотом, каким обычно спрашивают «где тут у вас туалет?» он зывал: «Кто хозяин? Хозяин кто? Можно вас на минуточку.» И отведя хозяина в сторону, с торопливо спрашивал:

– Кто здесь с кем? В смысле: кто здесь кого? Ну, чтобы не было скандала.

Когда же объекта для охоты не обнаруживалось, Салат с коротким горестным вздохом приступал к еде и выпивке. Если до него доходила очередь говорить – тост его бывал лапидарен и традиционен:

– Пусть мое посещение будет последним, незабываемым несчастьем в вашем доме.

И все смеялись, принимая это за изысканную шутку, а это была чистая правда и категорическое предупреждение!

Салат напивался с космической скоростью. С той же ско-

ростью, из тихого МНС а, с очечками на фигушке носа, он превращался в необузданную разрушительную стихию. Из рук у него падала и разбивалась посуда, под ним ломались стулья, и, наконец, вокруг него стремительно закипала драка. Она, как правило, не ограничивалась избиением Салата, но с неожиданной яростью охватывала широкие массы приглашенных и хозяев. Они вскоре совершенно отвлекались от Салата, как от первопричины скандала, и разносили в квартире все.

Время от времени с лестничной площадки в квартиру врывался расхристанный Салат, с криком:

– Я уйду по-английски! – и скрывался, только получив очередную порцию «по роже».

Салата потом, действительно, долго вспоминали, как большое стихийное несчастье.

Фауст

Одно из самых тяжелых испытаний, что может от рождения достаться мужчине – безграничная материнская любовь. Нет, отсутствие материнской любви – гроб! Это еще античные греки заметили. Это они же заявили, что «мужчина, не знавший материнской любви, не достоин ложа богини». Но плохо, когда она безграничная... Есть стойкая генерация мужчин, раздавленных материнской любовью. Как правило, это единственные сыновья из неполных интеллигентных семей. Сыновья, так называемых, матерей-одиночек.

«Маменькины сынки». Я тоже — «маменькин сынок» и на своей судьбе испытал каким прессом давит материнская любовь и каких стоит усилий и страданий, чтобы вырваться из под катка этой всепоглощающей благороднейшей и прекраснейшей любви, что, как правило, калечит жизнь мужчине, даже если мать понимает, что губит своего ребенка. Это она умом понимает, а сердце, сконцентрированное на нем одном, в котором и муж, и сын, и брат, и отец в едином лице... Не дай-то Господи! А жалко-то как! Мать-то! Особенно, когда она понимает, что заедает сыну жизнь и начинает «приносить себя в жертву».

Собственно, ведь то, что у большинства моих сверстников отцы погибли на фронте, сделало жертвами не только их матерей — наших бабушек, не только наших матерей- их жен, но и нас... И это не только трагедия сиротства! Вернее, в трагедии сиротства есть и еще одна грань — безграничная, она же безумная, материнская любовь!

Наиболее удачливыми среди нас, сыновей матерей-одиночек, оказывались хулиганы. Они с малых лет отбились от дома и к двадцати годам бывали уже женаты или предъявили матерям такие стороны жизни, вроде тюрьмы и водки, что суженой своего единственного, она готова была ноги мыть и воду пить...

Нет! Неправда! Таких случаев я за всю жизнь на пальцах одной руки не перечту. Чаще так: негодяй, уголовник приведет в дом девочку-ромашку, и на все оставшиеся дни, жизнь

ее изувечит, ногтя на мизинце, ее не стоит, а мать ее все равно ненавидит! Потому что сынок был ее, а э т а (их как правило без имени зовут). «Эта» пришла и отняла!

Одна моя знакомая – добрейшей души казачка-хуторянка, проживающая в Питере, в законном браке, родила нечто, более всего напоминающее своей синей попкой ободранного кролика с прилавка гастронома, и как величайшее свое достижение, как вершину мужской красоты, демонстрировала мне, лучшему и вернейшему другу семьи, это уписанное создание, с морщинистым лицом ящерицы, лягушачьими лапками и головенкой с кулачек, какая еще совсем не держалась на ниточной шеечке.

– Видал! – рокотала она, прижимаясь к нему своим уса-
тым ликом, напоминавшим Медного всадника, – Крррасавец
мой... Боец! Смерть девкам! Сноху уже ненавижу!

И наблюдая эту материнскую страсть, эту облачную нежность, с какой каждый час, совался в пиявочный ротик сосок, величиною со здоровенную ягодину шелковицы, с трудом верилось, что «тетя – шутит».

Виделось другое: она вот так его лет до сорока готова пестать и пеленать! Хоть бы, и в прямом смысле! И только в те, далекие грядущие и неизбежные, годы, ощущая свою немощь, и с ужасом обнаруживая, что у ее «грудничка» уже плешь протопталась, вдруг поймет, что натворила!

Не хулиган, послушный мальчик, а не дай Бог еще отличник и паинька, к поре материнского прозрения, уже превра-

щается в старого холостяка, с собачьей тоскою в глазах, подтяжками, аккуратно, мамой заштопанными, носками, и козлиным запахом одиночества.

Вот тут-то мамой начинаются судорожные поиски невесты. Как правило, из дочерей маминых одиноких подруг. Эти «деушки» страшно нравятся маме, но почему-то рожают в Вовике или Петяше горячее желание удавиться на собственных невостребованных гениталиях! Кроме того, жажда женщины и любви уже почти что откипела, на смену им пришли увлечения политикой, шахматами, собиранием марок, а затем трепетная погоня за ускользающим здоровьем. Возникает утренняя гимнастика, обливание холодной водой, в крайней форме «моржевание», и бег трусцой по воскресеньям, с увенчивающим это занятие, инфарктом.

Мой школьный друг Витюша, на работе Виктор Николаевич, к этому состоянию уже приближался. Поверх его брючного ремня уже выкатывался животок, а на темечке проявлялась лысинка, зато вокруг еще оставались, как бы, кудри. И мама подарила Витюше берет. Она считала, что Витюша похож на молодого Фауста. Все внимательнее читал наш Фауст выписываемый мамой журнал «Здоровье» и пощупывал свою печень, повторяя, про себя, новое богатое слово «дюбаж». Наши однокашники уже женились и разводились по второму разу, отводили ребятишек в школу. А один скороспело отковавший потомка в десятом классе и передавший с генами эту скороспелость сыну, уже катал коляску с внуч-

кой... А Витюша все еще пил с мамиными подругами чай, рассуждал об чистке организма и считался весьма серьезным работником в своем плановом отделе, вычислявшем на железных арифмометрах «Феликс» светлое будущее для всего человечества. Впереди уже явно ничего не маячило, кроме пенсии. И вдруг! И вдруг Витюшу настигла любовь.

Произошло это на уборке картошки. В общем, история самая банальная. Типичная для конца семидесятых. Дождь, грязная картошка, оцинкованные ведра. Раскисшие совхозные поля и как воронье на бороздах, толпы простуженных интеллигентов, руководимые подвипившим совхозником. И трепетное существо. Переучившаяся маменькина дочка. То есть у всех подруг уже дети в садик ходят, а у нее аспирантура, кандидатские экзамены... Обычно все эти аспирантуры, особенно в общежитии, кончались потерей девственности, по пьянке, после вечеринки, и возвращением по месту жительства, с кандидатским дипломом, в лучшем случае, с дитем, озлоблением на весь свет, привычкой к курению и одиночеству, Но здесь и этого быть не могло. Причина та же что и у Витюши – любящая мама.

Они нашли друг друга. И начался возвышенный и мучительный роман старого холостяка, неумелого как новобранец и старой девы, пугливой как лань. Начались совместные сидения в публичке, хождения в кинотеатры и на лекции... И все это тянулось и тянулось. И грозило так и окончится ничем. Потому что даже объясниться им – негде, а уж перей-

ти к действиям и подавно! В местах квартирования обоих – мамы.

Но в таких случаях почему-то особенно бывают озабочены друзья. Вероятно, подсознательно, каждый из нас, вляпавшись в брак, желает, чтобы и другие хлебнули из этой горькой чаши. Наверное, мечтая убедиться, что там, действительно, не вино любви, а нечто невозможное, и горечь, что вы испытываете не свойство исключительно вашей души и вашей ситуации, а явление объективное. И мы Витюшины друзья сделали все, чтобы все у него с его обожаемой состоялось!

Извернувшись на пупе, добыли путевки мамам: одной на недельку, до второго, в Комарово, но она выдержала только три дня и прискакала на попутной электричке к дочечке. Как, мол, она там, бедняжка, без мамочкиных советов и рекомендаций, а так же без упреков и нравоучений. А второй – на Валаам! На три дня! На теплоходе, желательно без выхода на берег обитаемых островов.

Витюша, следуя инструкциям ветеранов брачных межполовых конфликтов, зарядил стол шампанским цветами и фруктами, свечами и хрусталем, отгородился от мира шторами и тихой музыкой... Все в лучших классических традициях.

Но в том возрасте, в коем уже пребывали Витюша и его лань, как выясняется, самым большим препятствием бывают не только мамы, но уже и они сами. Лань затрепетала, за-

лепетала и на телефонный вызов нашего весеннего изюбря ответила извинениями и отказом.

Бедный Витюша, тяжело вздыхая, убрал шампанское, икру черную и прочие деликатесы в холодильник, решив, что маме объяснит их появление подготовкой к новому году. Несколько упустив, правда, от огорчения из виду, что на дворе июль месяц, и готовиться к праздничной елке, даже при марксистском дефиците всего в магазинах, все-таки рановато.

Вздыхая, и, может быть, уронив слезу о несбывшемся, он все же решил использовать свое одиночество в доме конструктивно или, хотя бы, с пользой для здоровья. Из купленной в переходе метро, брошюры серии: «Ваше здоровье в ваших руках», а именно: «Радикальная чистка организма» он внимательно проштудировал статью «Очистительные клизмы» и приступил к исполнению. Он, вколотил в дверной косяк гвоздик и повесил на нее, кружку Эсмарха, ведерной емкости. Затем, строго следуя рисункам из книжки, принял рекомендуемую позу, ввел все, смазанное вазелином, как следует и куда следует, и повернул в длинной резиновой кишке краник.

Минуты через полторы ему показалось, что он лопнет, но, следуя инструкции, он стал ровнее дышать, и сцепив зубы, дождался-таки, когда вся «подкисленная лимоном вода переместилась из кружки Эсмарха в значительную часть кишечно -желудочного тракта». Ощущение, что вода, вот-вот

полыется из ушей, довольно быстро прошло. Витюша поднялся, и с трудом переставляя ноги, стал, как рекомендовалось в брошюре, «по возможности дольше», прохаживаться по узенькому коридорчику двухкомнатной хрущевки, где проживал с мамой. Он сконцентрировал, всю волю и, стараясь думать, о чем –нибудь совершенно отвлеченным, даже пожалел, что туалет у них не снабжен замком и не запирается, и нельзя терпеть, стиснув ключ в кулаке. Он даже немного гордился своей выдержкой, и радовался, что мама уехала и не будет присутствовать в тот момент, когда начнется неизбежная водная феерия или очистительный тайфун, и даже успел подумать о своих ощущениях как-то отвлеченно. Но, судя по тому, что в нем накапливается, последствия могут быть слышны и на улице, а уж про квартиру и говорить нечего. Почему-то он вспомнил, что мама звала его «Фаустом» и усмехнулся, сравнив себя, в настоящий момент, со взведенным и готовым к выстрелу, фауст-патроном.

Он начал считать по себя, опять-таки, как рекомендовалось в брошюре, и досчитал уже до пятидесяти семи, когда в дверь позвонили. Стараясь не позабыть сосчитанное, и находясь в полубоморочном состоянии, он, машинально, открыл дверь. Ведь в хрущевке, для того, чтобы это сделать, даже не нужно перемещаться. Протянул руку, и пожалуйста. За распахнутой дверью, вся усыпанная блестками дождинок, сияя глазами, из под очков, делавших их еще больше, в краске смущения, стояла лань!

Я передумала! – прошептала она. – Я передумала! Я пришла!

«Остановись мгновенье! Ты прекрасно!» – сказал бы в эту минуту Фауст. Но не забывайте, что именно после этого, он и рухнул в ад. Падение, в театрах сопровождается грохотом, пламенем и прочими эффектами. Здесь же, каждый может придумать финал по своему вкусу и самостоятельно.

Не я не стану вас мучить. Все состоялось. И Витюша тянет лямку семейной жизни, как и все мы – его доброжелатели. Лань – на пенсии, помогает снохе нянчить внуков. Для этого, самоотверженно, ездит, ежедневно, через весь город на метро, так как молодые живут от них, слава Богу, отдельно. А обе мамы-одиночки давно взирают на эту идиллию с небес.

А мораль такая! Детей рожайте! Много! Разных! Тогда хлопот, необходимых для человеческого счастья будет столько, что никому вы судьбу не переедете своей родительской любовью.

Шутка гения

Мы с Володькой Лаптевым по прозвищу «едренный лапоть» сидели на кухне и пили чай. Иногда заходила его жена и раздраженно гремела посудой.

– Вот....– говорил Лапоть – двадцать три года живем в законном браке, каждый день выпиваю – казалось бы давно пора с этим примириться...Нет, все ругает меня «Алкоголик! Пьяница»...

– А ты и есть алкоголик! Истинная правда! И пьяница, – едва не срываясь на крик, подхватывала Люба, – Чтоб ты прокис! Алкаш несчастный...

– Мяу.

Люба хлопала дверью.

– Еще не отчаялась, – констатировал Лапоть, – еще думает меня исправить и спасти. Думает это так – затянувшаяся шутка гения.

Он наливал чай на блюдечко, и с нескрываемым отвращением, пил его.

– Между прочим, я ее до замужества, предупреждал, что у меня отягощенная наследственность – мой дедушка был фотографом в Сызрани. А фотограф это почти художник. А художник это всегда – богема. Если бы ты знал, каких титанических усилий мне стоит преодоление тяги к художественной богемной жизни...

– Как не стыдно! – кричала из комнаты Люба., – Светлая голова! Ведущий инженер и алкаш...

– Пр-пр-производственную тему не будем трогать. Производство это святое! Руки прочь! Но пасаран! Крепи производственную дисциплину любой ценой и даже до самопожертвования. Два месяца назад в пятницу, имея в сердце горение о выполнении задач трудовым коллективом и всем производством в целом, взяли секретнейшие чертежи, имея в виду поработать дома в выходные, и тем самым обеспечить трудящимся квартальную премию. С такими кристальными

намерениями, как два Павлика Морозова, я и мой коллега, Рудольф Палыч, вышли из проходной НИИ в районе Исаакиевской площади. И тут же встретили бухгалтера, который у нас работал, да лет пять назад на пенсию пошел. Мы его имени отчество, естессно, призабыли, но тело было нами опознано. Он, неожиданно, так обрадовался, что повлек нас под красный свет, поперек площади, нарушая правила дорожного движения в «щель». Щель, как ты понимаешь – буфет при Астории, где можно в культурной обстановке, стоя, пригубить, рюмочку. И ничего в этом плохого нет. Вне рабочего времени. На отдыхе. Тем более с секретными чертежами.

Но бухгалтер так увлекательно нам о чем то рассказывал, о чем я сейчас не помню, что из щели мы вышли часов в одиннадцать. Как раз у ресторана стояла лошадь и на нее грузили бачки с отходами из ресторана. Есессно, не на нее, а на телегу. И Рудольф Палыч, который еще не ослабел тогда, заметил между прочим, что вот, мол, гусары по Невскому на тройках катались, а нам нельзя. Тогда пенсионер, который совершенно раздухарился, достает червонец и к вознице... Тот легко сосчитал, что оштрафуют его не более чем на пятерку, а пятерка в остатке. Тем более, может и не оштрафуют. Все равно ведь что вести: бачки с отходами или нас. Мы на фуру влезли и, проявив чудеса акробатики, с нее даже не упали. И даже стройно пели, и пили шампанское, пока лошадка, ну, не галопом, но, вполне приличной трусцой, ехала

посередине проспекта.

Тут у меня некоторый провал в памяти. Куда делся пенсионер – я не помню. А помню, что стоим мы на перроне Московского вокзала. Удивительное дело у нас в Питере летом. Полночь, а солнце светит. И перрон совершенно пустынный. И мы с Рудольф Палычем, как статуя непокоренным, с чертежами особой секретности. Но он уже слабел и обвисал, как боец, потерявший много крови за родину, за Сталина! И проводница на нас так пристально и странно смотрит. И пауза затягивается. И чтобы скрасить неловкость, я просто так, ничего в виду не имея, спрашиваю:

– Свободные места есть?

Она

– Есть. Заходите.

Мы вынуждены были, как воспитанные люди, ей в просьбе не отказать. И только вошли – поехали. И в районе Тосно, когда уже ничего нельзя исправить, потому что у них первая остановка – Бологое, мы обнаруживаем в кармане плаща бутылку коньяка. Как она тут оказалась? Естесственно, мы ее выпили. И заходит проводница, а Рудольф Палыч совсем ослабел и голову склонил, а у него характерная деталь внешности и особая примета – такая плешка аккуратная посередине головы. Я все смотрел и удивлялся – надо же какая плешь культурная... Будто циркулем обведена. А проводница, вероятно, имея в виду, получить за билеты, спрашивает:

– Что это ваш друг молчит все время?

Я же зная, что у нас на двоих восемнадцать копеек, провожу отвлекающий маневр и говорю:

– А он по – русски не понимает. Он – литовский пастор. Видите, какая у него тонзура. Лучше принеси – ко нам, доченька, бутылочку коньячку...

Она к нам очень уважительно отнеслась и я даже не ожидал, что она так орать будет, когда нас в Москве в милицию уводили. Вообще я заметил, что женщины совершенно непредсказуемы и неадекватны. Но в милиции мне было уже легче, потому что Рудрольф Палыч отдохнул и мог к месту слово вставить. Очень убедительно.

Вообще отнеслись к нам хорошо. У меня –то в Москве, кроме Генерального секретаря нашей партии дорогого Леонида Ильича Брежнева, никого знакомых нет, а Рудольф Палыч, очень кстати, вспомнил, что у него в Москве есть приятель, которому он много лет назад одалживал деньги, а назад не взял. Он сразу из милиции ему позвонил. Тот, думая, что мы в Ленинграде и звоним ему по междугороднему, очень обрадовался. Рудольф Палыч только заикнулся:

– А помнишь, за тобой должок?

Друг московский, очень хороший человек, (как выяснилось позже), сразу, неосмотрительно, говорит:

– Готов отдать в любую секунду. И даже с процентами...

– Ну так, говорим, нас сейчас к тебе на воронке привезут. Готовь купюры!

Но он очень хороший человек. Он даже вида не подал, что

мы его шокировали. К полудню он недостающую сумму собрал. Но дружба, я тебе скажу, великая сила!... Разумеется, каждый друг, который вносил свою лепту, приходил с бутылкой, так что настроение у нашего москвича скоро очнь поднялось... Если бы не это – вообще была бы катастрофа, потому что чертежи мы потеряли... Нашли только к вечеру, в воскресенье. Ты понимаешь, через что пришлось пройти! Но к восьми в понедельник, мы, как штык, в родном коллективе! На производстве!

– Алкоголики чертовы! Жалко, что вас в Москве не посадили! – кипела, вернувшись на кухню, Люба.

– За что? – моргая оловянными глазками, спросил Лапоть.

– За пьянку! За то, что жизнь мою загубил!

– Мы все – потерянное поколение! – заметил Лапоть. – И все в этом мире относительно.

– Что тебе, козлу, относительно?! Заслуженный изобретатель республики, а пьешь как свинья! «Относительно»

– Все относительно, Люба, – настоял Лапоть, – Вот, скажем, три волоса, на голове это мало или много? А в супе?

Жертва фашизма

Когда жена исчезает из дома надолго, например, на дачу на все лето или едет к маме, в какой-нибудь Крыжополь Сумской области, мужика тянет на подвиги! Тем более, если по натуре он боец и женить его на себе женщине удалось только с помощью парткома.

То есть, когда бывшая девушка шла в партком или в профсоюз и заявляла об утрате иллюзий и о своей беременности. Тогда на автора этой неприятности начинали влиять, но поскольку никаких юридических форм воздействия на не желающего жениться мужчину нет, то если стоять насмерть, и не дорожить коммунистической моралью, хрен кто чего делает! Но Палыч, в свое время, оказал слабинку и женился!

Факт, сам по себе, ерундовый, но отягощенный тем, что и беременности-то не было! Просто Палыч, его тепрешней супруге, как она решила, очень подходил, в смысле зарплаты и т.п. Поскольку он не только работающий, но и предприимчивый, так что скоро из общежития переехали они в однокомнатную квартиру на первом этаже одного из новых тогда еще жилищных кооперативов, а еще, через по чуть- чуть, Палыч, на зависть всем соседям, купил «Запорожца».

И его супруга, как большинство женщин, у которых вся жизнь разделена на этапы, например, выйти замуж, все равно за кого, но только бы уложиться в сроки, совершенно успокоилась. Ну, вроде как: копили деньги на шкаф, купили, поставили, набили барахлом, он себе стоит и стоит, и есть не просит. Но ведь Палыч не шкаф!

Тем более, законный брак должен жыздеться, тьфу! джжжется, не! Зиждеться! Во! На любви и взаимопонимании... А какая тут любовь! Когда через партбилет женили!

Среди друзей Палыча, по преимуществу автомобилистов, встречались оч.крепкие ребята! Например, Сеня Айболит!

Этот Сеня работал районным санитарным врачом! Редко можно было встретить человека такой высокой медицинской ответственности! Долг свой врачебный он выполнял несмотря ни на какие моральные издержки. И хотя его в свое время женили, примерно, как Палыча, он для Палыча оставался символом свободы! То есть, имея старенький Запорожец, он постоянно разъезжал в нем не с женой, а различными посторонними женщинами, тем более, что круг служебных обязанностей у него был очень широкий, а круг общения еще шире! И хотя его жене регулярно доносили о Сениной неверности, но за руку же никто не поймал! То есть неизвестно за что ловить! А потому и доказательств нет! И Сеня, зачастую, после работы ехал на птицеферму или на прядильный комбинат или на кондитерскую фабрику, выкатывал оттуда какую-нибудь очередную конфету и катил с нею за город, на природу! Поскольку в России никогда не существовало и нет проблемы пола, а есть проблема крыши! Но моторизованный боец ее легко решает на широких-то просторах нашей Родины.

Так, незадолго до того, как супруге Палыча уехать в Крыжополь, Сеня, увлек некую даму, выше средней упитанности, в живописные окрестности, где собирался предаться чувствам и ощущениям, недополученным в семье, как на обочине дороги, на краю огорода, увидел лежащую молодую огородницу и старуху над ней. Другой бы проехал мимо, тем более, что городок у нас небольшой, а в таком деле как су-

пружеская неверность аплодисменты только вредят...

Но Сеня остановился, предложил помощь и тут же опытным глазом врача определил, что женщина рождает или близка к этому! И даже, что положение плода неправильное и нужно срочно в больницу! И тут он быстро сделал выбор между семейным благополучием или врачебным долгом и проявил героизм. А именно: бабку с роженицей в машину, сам за руль. А готовую к любви даму, выше средней упитанности, на крышу Запорожца, на багажник! И в таком составе, на предельной скорости, в ближайшую родилку! Естественно, встречные граждане чуть сознания не лишились, когда видели Запорожец и даму наверху, как бы Чапаева в атаке или В.И. Ленина на броневице. Она же, притом, еще и орала так, что никакая сирена скорой помощи и в сравнение не идет! Вою прибавили и ГАИшники, которые увязались за Сеней на мотоциклах и автомобилях, но догнать не смогли! И Сеня спас двоих: роженицу и мальчика, которого называли Сеней, в честь спасителя!

Не случись бы этого происшествия, Палыч бы увлек в пучину разврата Сеню, и там находился бы под опытным руководством Айболита. И нечего бы страшного не произошло! Но Сеня Айболит, неожиданно, гулять бросил. Поскольку, когда его жене донесли о приключении с амазонкой, она громко заявила: «Я, мол, мужем своим горжусь!», и не только не устроила ему Варфоломеевскую ночь, а наоборот, накрыла поляну на всю прогрессивку, и также подарила шляпу

и галстук! А когда досужие бабки стали особенно фиксировать ее внимание, на даме выше средней упитанности, что скакала на багажнике Запорожца, Сенина жена категорически заявила, что это медсестра! И она, Сенина законная жена, подвигом этой медсестры даже гордится и готова ей руку пожать! Так, может быть, первый раз, за всю историю государства Российского народная служба доносительства дала сбой! Сеня же неожиданно для себя понял, что жену свою, скорее всего, любит и больше ни в ком не нуждается!

Поэтому Палыч, вместо Айболита, который мог бы стать его вожаком и консультантом, вынужден был прихватить с собою другого своего друга и сослуживца – тихого бухгалтера, похожего на Пьера Безухова, тоже в очках, но худого. От него то, потом, и стали известны подробности кошмара.

В целомудренные шестидесятые горы, на заре сексуальной революции, рынка любви в том откровенном и широком ассортименте, в каком он предъявлен сегодня, не существовало. Нынешней молодежи, например, не понять, зачем двое сорокалетних женатых мужиков поперли аж в Выборг, чтобы прихватить там двух мочалок, которые ныне, в демократическом сегодня, рядами у каждого фонаря стоят! И зачем, прихвативши, поволокли их в какую-то забегаловку, где для верности стали накачивать водкой и пивом!

Алкоголь подействовал на одалисок по-разному. Одна в машине сразу заснула. Зато вторая, что сидела на переднем сидении, чрезвычайно возбудилась, порывалась петь и все

хваталась за руль. Палыч несколько раз чуть в кювет не въехал. Поскольку держать такой темперамент на переднем сидении опасно, решили дам поменять местами: спящую переволокли на переднее сидение, а певицу на заднее. Тут она проявила такую прыть, что бедный бухгалтер, чувствуя себя почти изнасилованным, только и мог, что поминутно спрашивать: – скоро ли доедем!

Певица же, видя, что ей бухгалтера не расшевелить, стала хватать Палыча за голову, пытаясь повернуть его к себе. Палыч, как мог, вырывался стараясь не выпускать руля. Но певица оказалась весьма сильной. Потужилась и рванула голову Палыча как кочан с грядки. Палыч тормознул, машина пошла юзом... И спящая красавица с переднего сидения вылетела в плохо закрытую дверь! Она прокатилась колбасой по асфальту и исчезла в кювете. В диком ужасе Палыч и бухгалтер спустились в кювет и в сто тысячный раз убедились в благодетельной силе настоящей русской водки! Одалиска – как огурчик, без синяков и царапин и даже не проснулась. Только колготки ее, в те годы – дефицит – в ключья!

Кое –как, запихав ее обратно в машину, два бойца, наконец, домчались до дома Палыча. Проволокли одалисок мимо старушек сидящих, как птички на ветке – рядом, на скамеечке, аккуратно, под окнами Палыча, и зашвырнули их в квартиру.

Как рассказывал потом бухгалтер, главной идеей, сверлящий его мозг, горело желание поскорее убежать домой, но

как честный человек и мужчина, внимая призывам Палыча, он все же решился осуществить то, ради чего чуть не лишилась жизни спящая красавица. Трясущимися руками он с большим трудом, будто куль картошки, затащил ее на широкую хозяйскую кровать и принялся раздевать. Белоснежка же, третьего срока годности, вероятно, увидев в небудном счастливое детство и не подписанные пеленки, быстро это дело исправила!

Как ошпаренный бухгалтер выскочил на кухню, а там уже широко развернулось продолжение праздника!

Совершенно голая певица носилась перед, ошалевшим от ужаса, Палычем с выкриками:

– В сексе я – фашистка! Зиг хайль, зиг хайль!

Триллер дополнялся милицейской фуражкой, (предприимчивый Палыч возил ее в Москвиче у заднего окна, чтобы милиция не привязывалась), и головами старушек, прижавшими носы к кухонному стеклу со стороны улицы.

Ополоумевший бухгалтер хотел, рвануться в дверь, но тут-то как раз именно в дверь и раздался звонок!

– Заткнись! – закричал Палыч фашистке, – Наверно старухи ментов вызвали!

И кинулся открывать. Бухгалтер увидел только, как из-за полуоткрытой Палычем дверной створки вылетел кулак и точно двинул хозяину квартиры в переносицу! Бухгалтер понял, что, истосковавшись по семейному очагу, из Крыжополя раньше срока, вернулась жена Палыча!

Что было дальше, он не знает. Потому что неистовая сила страха выбросила его в окно. Благо, что первый этаж! Струшки с куриным кудяхтаньем посыпались в разные стороны, когда над их головами в олимпийском прыжке скакнул бухгалтер.

Палыч тоже не рассказывал ... Два месяца он ходил в темных очках. К общему удивлению семья и в тот раз не распалась, но к Палычу прилепилась кликуха «Жертва фашизма».

Недавно даже кто-то посоветовал ему подать на компенсацию в Германию, как пострадавшему. Тот, кто советовал совершенно искренен, пребывал в уверенности, что Палыч когда-то в раннем детстве, был узником концлагеря!

Палыч сначала хотел ему морду набить, но потом подумал и понял что не за что... Во-первых человек не знал откуда кликуха, а во-вторых, если поразмыслить-то его жизнь с женой, мало чем от концлагеря отличалась...

«Дон Жуан»

А дальше в действие вступает сатана...

«Учите законы драмы, по ним строится жизнь»

И.Соляртинский.

Дон Жуан не выдумка, не театральная находка. Это тип мужского характера... Вернее, это судьба и человек. Это повторяется постоянно. Короче, я знал дон Жуана. Я дружил с ним. И только разменяв шестой десяток, вспоминая его, поразился как все совпало! Как точно повторилась

драма. Со всем бесчисленным хороводом женщин, который вился вокруг него, как звучит банально, словно хоровод ночных бабочек и мошек вокруг огня. Их восторги, слезы, скандалы...

И наконец, чудовищная развязка, и раскрывшаяся бездна и гибель... и смерть. И полное совпадение с Мольером и с Пушкиным. А может быть с тем персонажем, что живет вне времени и пространства как живут Евангельские персонажи, шекспировские герои, пушкинские... Поскольку слепок своего времени они все же вечны! И повторяются в других обстоятельствах в других декорациях и одеждах, но совершенно не меняясь, как, вероятно, не меняется человек. Просто исторические обстоятельства, как луч прожектора, выхватывают то одну судьбу и характер, то другую.

Может быть, человечество выполняет какую-то сверхзадачу и не исчезнет, пока не проживет все типы характеров и драм.

Не могу вспомнить, когда я познакомился с я ним. У меня было ощущение, что я знал его, в то краткое время, когда работал на заводе заканчивая десятый класс. Там был какой-то парень похожий на него. Черный, с ослепительной улыбкой, напоминавший испанца и японца одновременно. Он что-то врал, помнится, как в деревне объезжал лошадь с помощью двух вилок, одну держа у холки, чтобы лошадь не вставала на дыбы, другую над крупом, чтобы не брыкалась! Весьма изобретательно с литературной точки зрения. Я слушал, не

верил, но врать не мешал. Я и не рассказывал, что каждую субботу и каждое воскресенье бегу в конюшню, и что для меня кони часть судьбы. Что мое пребывание там, можно объяснить только величайшим милосердием тренера, который говорит. «Ничего, ничего. Сейчас определишься с институтом, а там посмотрим! Пока держи форму. Ты как бы у меня сохраняешься в резерве или в консерве...» Он очень смеялся, когда я рассказал ему про вилки: «Ну, скажем, я бы мог пожертвовать твоему другу две вилки, столового серебра. Даже! Но вот на гроб ему у меня денег не хватит!» Я об этом будущему дон Жуану не говорил, что позволяло сохранять хорошие отношения. Потом он исчез. Говорили – подсел. Для завода – дело самое обычное. Из подростков, что стояли за соседними с моим станками, треть уже побывала в колониях и тюрьмах, а треть состояла на учете или под судом. Одним словом известие о том, что он подсел, особого резонанса в той заводской среде не вызвало. (тем сильнее хотелось оттуда вырваться и уйти в институт, в другую жизнь.) От моего знакомого в памяти осталось в памяти только имя...

А вот в другой жизни, года через три отношение к происшедшему было совсем другим.

Компания была студенческая, в основном, из хороших мальчиков и девочек, чувствовавших себя достаточно серьезно, как бы сейчас сказали – перспективно.

И вот тут—то в прокуренной и комнате, длинной как чулок и узкой как вагонное купе, я его встретил. До сих пор

могу ответить – тот ли это был человек с завода или другой. Но встретились мы как давние знакомые. Я потом замечал, что подобное чувство испытывал я не один... Вероятно, и у других возникало ощущение, что ты его знаешь давным – давно. А он только ослепительно улыбался в ответ. Он вообще, в компании говорил мало, только улыбался, да обжигал черными азиатскими глазами.

Мне, разумеется, шепотом рассказали историю» этого мальчика», у которого чуть ли не в десятом классе была любовь. А родители девочки вмешались и посадили его по 117. Статье УК.

Находясь в зоне, он написал обо всем знаменитой тогда журналистке и педагогу одновременно. Она развернула целую компанию, подняла на страницах молодежного журнала дискуссию, время шло такое – социалистический гуманизм – все друг другу на помощь бросались, особенно, когда это совсем не требовалось, и советская общественность добилась его досрочного освобождения и снятия судимости.

Прекрасное время, замечательные люди. Но совершался невольный грех.. Мы думали тогда, что всего можно добиться, если сильно захотеть. А ведь это искушение! Победа без молитвы – подарок сатаны. Вообще всякая безапелляционность суждений, уверенность в своей правоте, без тени сомнения – это от него. И он стоял за спиною у литературной дамы и у моего приятеля.

Человек, вообще, находится под обаянием стереотипов

своего времени, их вызывает литература, кино, телевидение. Когда то кажется Золя сказал страшную фразу:» Мы не копируем мир, мы населяем его.»

Так вот следуя стереотипу, выйдя из тюрьмы, мой приятель «невинно оклеветанный безжалостными родителями девочки, исковеркавшими их любовь», женился на дочери литературной дамы, с ее подачи поступил в институт на вечерний факультет... Вот тут и началось.

Он не был бездельником, он не был бездарностью... Но его сжигал другой талант. Скажите, разве можно представить себе дон Жуана, который бы спокойно тянул армейскую лямку, или был хозяином поместья, был бы мореплавателем или плотником... Никогда! У него на работу не хватило бы ни времени, ни интереса... Он самой природой, самой мозаикой генов и, разумеется воспитанием и полным атеизмом, ориентирован на другое.

Пошляк сразу подумает – на секс и разврат! Ничего подобного. Таких то страдальцев наш взбесившийся век плодит в геометрической прогрессии ежедневно.

Дон Жуан не развратник, и никакими особыми сексуальными дарованиями не наделен. В нем другая всепобеждающая и всесокрушающая одаренность. И открылась, со временем, она в моем приятеле. Когда у него рухнула первая семья, когда он очень скучал по оставленной там дочке. Когда посыпались со скоростью монет из сломанного игрового автомата романы, романчики, случайные связи, знакомства....

Когда, наконец, кто с завистью, кто с удивлением, в многочисленном круге его знакомых не отметил, что, пожалуй, нет женщины, способной, так сказать, против него устоять...

Я помню как судачили наш общие приятели, рассуждая, как это ему удастся, какие такие волшебные слова или приворотные зелья он знает. Поражался этому и я, хотя встречался о нем от случая к случаю и достаточно редко, больше зная о его победах от общих знакомых.

Надо сказать, что сам он никогда, никому, ничего не рассказывал! Просто можно было вдруг у него дома обнаружить письмо от известной поэтессы, брошенное на столе, или используемое как бумагу для записи телефонов.

– Разве ты ее знаешь?

– Да она тут у меня ночевала позавчера.

– И давно ты с ней знаком?

– Дня три,... – отвечал он без всякого интереса.

Постоянно он был нищим и безработным. Его куда-то устраивали, где-то он непродолжительно служил, но потом опять оказывался и без денег и без места. Он постоянно говорил о каких-то своих статьях, публикациях, но становилось совершенно очевидно, что никаких публикаций не предвидится, поскольку никакие статьи не будут написаны никогда.. Хотя, повторяю, он был не бездарен. Ему просто некогда.

И вот я решил, по мучительному своему свойству, разобраться в механике человеческой драмы, рассмотреть как же

это у него так получается, что женщины самых разных возрастов, положения, от твердокаменных обкомовских дам, до бескорыстных шлюх из рабочих общежитий, от выдающихся актрис, балерин, художниц, ученых до посудомоек и буфетчиц, красавиц, дурнушек, так себе, и просто уродин (включая медицинских инвалидов, я помню девушку без ноги и одну с обожженным лицом,) буквально, осаждают его.

Затаившись, я пронаблюдал за ним весь вечер в одной компании. Он не стремился быть в центре внимания, да и, скорее всего не мог, но, сидя в углу, принимал живейшее участие во всем что происходило: слушал, поворачиваясь от собеседника к собеседнику... Вдруг о в нем что-то сделалось. Вошла какая-то женщина .И все вокруг него выключилось. Теперь существовала только она одна. И она не могла этого не почувствовать

С удивлением я увидел, что он безумно влюблен, что кроме этой женщины для него в комнате теперь не существует никого. Что тут было? Самогипноз, система Станиславского? Какая-то психическая аномалия? Не ведаю. Но женщина тонула в его безудержной любви. Вот в этом и был талант дон Жуана. Он без памяти влюблялся во всех!

Но после обладания начиналась вторая серия романа. Насколько я помню, он с такой же стремительностью охладевал к той, которая только что была для него светом в окошке, единственной и неповторимой. Начинались мучительные дни прекращения отношений. А это гораздо тяжелее, чем

все предыдущее. Для большинства женщин ,всякая связь – это уже перспектива. Они уже спланировали ,если не всю ближайшую жизнь, то хоть ближайшие дни. Наш дон Жуан не оставлял им этого. Развязки наступали обыденно и скучно. С некоторыми романы тянулись попродолжительнее, но это происходило усилиями женщин. Это они продлевали агонию отношений.

Они предпринимали отчаянные попытки, будучи не в силах поверить, что вся та безграничная любовь и страсть, обрушившаяся на них так внезапно, столь же внезапно и прекратилась. Они, собственно, начинали бороться за него не от любви, скорее всего она не успевала возникнуть, а от растерянности и удивления. Поэтому большинство их одиноких монологов начинались со слов : «Как же так?» Этим они досаждали дон Жуану, они доводили до предынфарктного состояния, пожалуй самое страдающее существо , его мать. Она, конечно же видела сына совсем не таким, каким он был на самом деле. Конечно, обвиняла во всем других, и мечтала об обыкновенном житейском устройстве для своего сына в быту и в семье. Из за нее несколько романов длились дольше обычного, в тех случаях ,когда девицы и дамы успевали подружиться с мамой. Тогда дон Жуан уходил из дома ,а они его ждали... Правда, ни одной не хватило терпения превратиться в Сольвейг.

С годами в глазах дон Жуана стало появляться некое сочетание скуки и безумия. Все его романы постепенно пре-

вратились в некое подобие упражнения на однообразность прицеливания. Он скуки он пускался в сексуально спортивные эскапады. Женщины позволяли ему и это. Так у него остановились ночевать (мама была на даче) пять подруг студенток. За ночь он ухитрился переспать со всеми пятью. О чем рассказывал с нескрываемой гадливостью. Отсутствие сколько-нибудь серьезного сопротивления со стороны женщин, с годами вызывало, у него стойкое к ним презрение. Было ли в нем ощущение нечистоты, греха? Сознания, что он тратит душу? Нет. Но накапливалось ощущение приближающейся беды. Частенько, в нем стали появляться черты какой-то тоскливой тревоги. Тоски добавляла и мать постоянно повторяя , что вот дон Жуану уже под сорок, а ни семьи, ни работы, ни денег... Все как-то устраиваются, а он такой невезучий... Правда, она как то не задумывалась, что все то, прежде всего, постоянно и тяжело работают и, большей частью, не по вдохновению.

В нем самом, при своей легкости мыслей, жила надежда на какую-то другую жизнь. Но и эту надежду он, скорее всего, связывал о женщиной. Он ждал женщину, которая придет и перевернет все его существование. Какова могла быть благополучная развязка? Без трагедии. На сытом западе он бы нашел себе старуху и доил из нее деньги. Может быть, бы женился. Хотя вряд ли. Для этого надо иметь способности брачного афериста, а это уже не дон Жуан! Это другой жанр! Это-водевиль, а здесь, безусловно, драма. Дон Жуан персо-

наж трагедийный.

И трагедия произошла. Однажды я встретил его на Невском, как всегда, с женщиной.. А надо сказать, что с годами он становился все контрастнее с женщинами ,что его окружали. Они становились все красивее, ярче , а он все невзрачнее. Иной раз даже думалось, как же такие могут быть с ним: ведь ни кожи, ни рожи... Но они все его любили, или во всяком случае, бывали увлечены , отвечая на ту волну, которой он их окутывал. .

И на этот на раз, женщина рядом с ним была ослепительно красива.

Моя жена Анна.

Женщина глянула на меня пропастями бездонных глаз и пошла в какой-то магазин, а дон Жуан остался покурить на улице.

– Она – ведьма! – оказал он о, какой-то лихорадочной веселостью. – Я никогда не встречал таких женщин. Она говорит: – как только ты мне изменишь, ты погибнешь..

– Как вы живете?

– Непонятно. Бред какой-то.. Ее дочь, моя дочь.. дружат как-то мимо нас, и даже между собой похожи. Завтра на юг уезжаем. С дочерьми. Через месяц созвонимся...

Звонок раздался раньше. Звонила мать дон Жуана. Нужно было помочь с врачами, с клиникой. Дон Жуан попал в автомобильную катастрофу. Нужны были лекарства. Я – добыл, повез его жене и там узнал подробности.

Анна нервно курила, у нее заметно дрожали пальцы и какой-то очень красивый молодой человек в распахнутой рубахе пил на кухне кофе.

— Он привез меня и девчонок на юг, — говорила она, — Неделю все шло прекрасно. А потом на пляже встретил приятеля. Познакомились с какими-то двумя девицами, и он, в обычной своей манере, оставил меня с двумя девчонками без копейки денег.... Вместе со своим приятелем и этими девицами, на машине, помчались в Москву. Я плюнула ему вслед.! Он даже не предупредил, что уезжают... Сбежал, и все...

В районе Тулы машина наскочила на, стоящий на дороге, без огней, трактор Кировец, вылетела на встречную полосу, прямо под идущий Икарус, взяла еще левей и рухнула с дорожной насыпи в кювет. Автомобиль несколько раз перевернулся помял корпус, но не загорелся и даже продолжал движение А, вот дон Жуан, сидевший на переднем сидении вполоборота, сломал позвоночник. Водитель отдалялся легким испугом, одна девица сломала руку...и все

Дон Жуан сломал позвоночник в районе грудины и поясницы. Он стал полностью неподвижен...

Пошли тяжелые операции. Какие-то дамы, из его предыдущей жизни, носили ему цветы, но как то вяло...

По телефону он, как всегда, говорил что-то о своих научных замыслах. Но судьба отняла у него смысл и сатанинское предназначение, ... Сатана победил, сделав его своим слу-

гою, предал, ибо он предатель и добивал его окончательно.

Можно было стать святым, можно было стать ученым,... Но не такова была судьба, и дон Жуан не имел опоры в вере. Осознав, что к прежней жизни возврата не будет, он связал из простыни петлю и сполз с кровати... Вот вам и ад развергшийся!

А его помнят в Питере... Но в основном, приятели мужчины, нынче все сильно состарились, но до сих пор удивляются, как это ни одна женщина не могла против него устоять, и завидуют, по старой памяти, его свободе...

Совершенно неожиданно, после его смерти мать вышла замуж за чудного старичка, они вместе ходят на могилу дон-Жуана. Анна не была там ни разу...

П.С.

– Как бы не так! – сказал, прочитав очерк, старинный мой друг Юра Подражанский. – Как бы не так. Тебе кто про его смерть рассказывал? То-то и оно... Смерть то была ужаснее. Он взрезал себе ножницами, потерявший чувствительность живот, а может оскотил себя... Истек кровью.

Господи! Буди милостив нам грешным!

« Муму »

(повествование в двух частях)

Часть первая

Герасим

Это было его настоящее имя, на работе его звали Георг-

гий Петрович , но крещен он был и в паспорте записан Герасимом, а Муму прозывался за разговорчивость, поскольку в должности, какой –то очень высокой и значительной ,не то главного инженера ,не то технолога крупнейшего завода страны, говорил не более фразы в день. Зато эту фразу можно было высекать на скрижалях.

Двухметроворостый, круглоглазый, бешено кудрявый, похожий на быка, он, казалось, круглый год ходил в пальто с поднятым воротником и всегда без шапки, а дома только в трусах – ему всегда было жарко.

Женат он был на мелкой, уксусного характера женщине, которую звал «Страдалица» и сосуществовал с ней «членораздельно» – то есть в разных комнатах. Более нелепого было брака невозможно представить как по содержанию ,так и по форме. Даже сидя Муму был на голову выше жены.

Когда Страдалица была дома ее едкий голосок казалось лез из всех щелей, Муму в таких случаях постанывал, как Прометей прикованный и норовил из дома улизнуть поскорее. Сей шизофренический брак Муму объяснял ошибкой молодости, когда студентом «заделал Страдалице пионеров и, как порядочный человек был обязан жениться», тем более ,как утверждала Страдалица ,она при родах потеряла здоровье и почти инвалид.

Близнецы – пионеры были точной удвоенной копией Муму и являли собой самодостаточный организм., который всеми силами старался вырваться из удушающих объятий вос-

питательно – педагогических представлений Страдалицы. Когда они бывали дома, то либо поглощали на кухне совершенно самостоятельно сваренный макароны или пельмени, либо копошились в своей комнате, где примерно раз в месяц, что-то горело или взрывалось. Приезжали пожарные, скорая помощь, набегали водопроводчики и электрики, реже – милиция. Страдалица закатывала истерики. Пионеры, стояли столбом по разным углам и, в еле сдерживаемом восторге, вспоминали как «бумкнуло» или как «пты – дыхнуло». Муму, безропотно, чинил или возмещал ущерб. Пионеров никогда не ругал и не наказывал.

Сущность его воспитательной концепции предстала мне зримо, когда ,однажды , я застал Муму в тяжелом похмелье. Он сидел на диване, в трусах покроя «30 лет Советскому футболу», а перед ним посредине комнаты соседский мальчонка возился с железной дорогой, которую когда – то, в качестве единственного трофея отец Муму привез из поверженного Берлина. В пору больших родительских застолий, со вздохами вспоминал Муму, дорогу раскладывали на столе и большой, почти что настоящий, электрический поезд вез бутылку шампанского. Чуда немецкой техники я в исправности не застал, поскольку пионеры во все внедрились и отвертели что могли, но соседский мальчишка не терял надежды вдохнуть новую жизнь в замерший механизм. Он копошился с колесами и вагонами, время от времени, засовывая оголенные провода в электророзетку.

– Вот, – пробормотал Муму, еле ворочая языком и временами пьяно засыпая, – Соседи мальчонку привели – присмотреть, а то бы я спал. «Присмотреть» – всегда пожалуйста! Сидю, бдю! Я вообще люблю, когда молодежь и подростки технику осваивают. И тянутся к ней. Самостоятельно, причем. Он осваивает, я присматриваю. Я не вмешиваюсь! Пусть сам. Своими руками, как деды и отцы.

Он шурует, я присматриваю. Он шурует, а я уже часа три присматриваю. Ни одного замечания. Сдерживаюсь. Он шурует, а я уже часа три сижу, все жду, когда же его током то дёбнет!

Нас роднило не только казачье происхождение, но и сиротское детство. Насквозь израненный отец Муму прожил недолго, так что и он, как я, был безбатьковщина. Но он был старше и в его отношении ко мне, наверное, более всего воплотился комплекс отца, который Страдалица не позволяла ему реализовывать по отношению к пионерам. Где в глубине мозговых клеток Муму, в основном забитым техническими сведениями, на неосознанном эмоциональном подкорковом уровне защелкнулась идея, что Господь определил его спасти меня и вывозить. Нерушимой стеной он стоял на защите моей чести и достоинства в результате чего, мы влетали в такие драки, что как живы остались – непонятно.

Однажды, в период страшной размолвки, с моей будущей женой, во время нашего жгучего романа, я неожиданно для себя, на нервной почве, напился. Произошло это

в какой-то компании, где большинство приглашенных были грузины. Единственный раз в жизни, я не помню, совершенно, что я делал и что говорил. Муму потом рассказывал, что я несколько раз заставлял грузин, пить, стоя, за «русские штыки», объясняя, неоднократно и многословно, трудящимся Кавказа, что только благодаря русским штыкам они вообще на планете существуют, хотя и как реликт. Муму, как всегда, не снимая пальто, сидел за столом и, как всегда, тяжело по-коровьи вздыхал, сочувствуя, каждому моему слову. Однако, что сохранить видимость застолья, он, жестом, заставил меня передать слово грузинам. Что было весьма неосмотрительно.

Грузин, с безупречным пробором на гуталинной голове, встал и посыпал, что «ему так нравится, вообще, то высокое национальное самосознание которое он, мамой клянусь, первый раз встречает в русском человеке». Это была его большая психологическая ошибка. Потому, что как рассказывал Муму, я вскочил и с криком : «Так ты что, чурек черножопый, меня, казака, хвалить надумал?», – заплакал и полез, через стол, драться!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.